

Сергей Доровских

ВРЕМЯ ВЕСНЫ

РОМАН

16+

Сергей Доровских

Время весны

«Автор»

2017

Доровских С. В.

Время весны / С. В. Доровских — «Автор», 2017

ISBN 978-5-532-94765-8

Воронеж, наши дни. Журналист Сергей воплощает мечту: покупает дачу на берегу городского водохранилища. Собираясь разжечь мангал, он находит тетрадь, но, прежде чем порвать для растопки, пробегает глазами по строчкам... А в них - опалённый временем рассказ о прошлом... Находя редкие минуты в суете городской жизни, чтобы читать тетрадь, Сергей сравнивает, какими были отношения, любовь, дружба в наше время и в далёкие годы войны. Роман удостоен премии имени Л.М. Леонова журнала "Наш современник" и стал победителем конкурса "В поисках правды и справедливости", а также издавался в "Роман-газете". В оформлении обложки книги использована работа фотографа и писателя Наталии Барановой.

ISBN 978-5-532-94765-8

© Доровских С. В., 2017

© Автор, 2017

Содержание

Часть первая. Серый дом	5
Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	13
Глава 4	14
Глава 5	17
Глава 6	19
Глава 7	28
Глава 8	31
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Сергей Доровских

Время весны

Часть первая. Серый дом

Глава 1

Памяти моего дяди Геннадия Ивановича Елфимова

Самый неповторимый, долгожданный момент – когда сбывается мечта. Почему-то многие грезят о недоступном. Для кого-то заветный и желанный день радости – это переехать от тесноты и проблем в свой дом, желательно на Лазурном берегу подальше от нашей «правды жизни». Ещё нужны счёт в банке, дорогие машины, прекрасные женщины. Несбыточно и банально, конечно, но и люди в массе своей предсказуемы, и даже в мечтах скучны до зевоты. Романтиков мало, да и они также сходят с ума в поисках гармонии, настоящей любви и прочих химер... Я как-то вывел простую формулу, что мечты и есть первопричина внутренней пустоты, тоски и одиночества. Бывает, люди разменивают четвёртый или пятый десяток, а всё доверчиво чего-то ждут от завтрашнего дня, не понимая, что мир предсказуем с тех пор, как был создан. В любом случае, решил я, уж если заложена в человеке «функция мечты», так надо верить и ждать того, что может стать реальностью. С простой и внятной мечтой есть шанс ощутить сладость обретения желаемого, и тогда живёшь, чувствуя, что взял за руку хорошее настроение и постепенно ведёшь его в своё завтра.

Потому и захотелось мне не заоблачного счастья или богатства, а просто... своей дачи на берегу «воронежского моря», недалеко от санатория имени Горького. Больше пяти лет откладывал деньги, долго просматривал объявления, лишь бы найти то, что нужно. И вот сбылось!

Кто знает это место, рассмеётся: и это... мечта? Невзрачные, выцветшие домики-скворечники стоят один к одному, их поджигают новостройки «успешных» воронежцев, одним словом – яблоку упасть негде. Нет ни участков, ни простора, никакой возможности побыть без посторонних глаз. Да и шумные электрички, что проносятся днём и ночью – разве это отдых?

Ну и пусть! Мне участок ни к чему. Моё детство пришлось на девяностые годы, когда люди месяцами не видели денег от государства. Отец работал на шинном заводе, и зарплату выдавали покрывками, которые он с трудом продавал на трассе, чтобы купить нам молока и хлеба. Потом родители приобрели дом-развалюху с огромным заросшим участком в глухой деревне, решили выращивать на продажу овощи. И я каждое лето помогал отвоёвывать у канадского клёна сотку за соткой, а затем торговал картошкой на рынке. У моих тогдашних друзей были летние каникулы, долгие и праздные, а у меня – посадка, прополка, уборка, базар. Так что в деревню меня теперь не заманишь, не хочу и думать. Да мне и нельзя быть за городом – как журналист, работающий на информационном сайте, я получаю задания внезапно, даже в выходные, так что всегда должен быть недалеко от центра города. А вот жить на берегу «воронежского моря» всё лето, имея свою (слово «своя» так и греет!) дачу... Это здорово! Нет ничего лучше июльского вечера, представлял я, когда долго отгорает день, и ты слегка качаешься в лодке, потягиваешь пиво, перед тобой разложены удочки... Ты держишь на коленях ноутбук, доделываешь какую-нибудь новостешку, чтобы скоротать время, когда карасик или линь подойдут на прикормку. И работа, и отдых! Да что там, подлинная свобода! Нет, счастье! По крайней мере, я его понимаю так.

Есть и ещё одна причина покупки домика в этом районе, хотя о ней можно сказать: «Ну, это уже лирика!» Да, пусть лирика. Именно здесь была дача дяди Гены, и все годы, сколько помню себя, я любил приезжать к нему. Когда на душе скопилась муть, надоела компания или расстался с очередной подругой, на сердце и в голове пусто, тошно и не хочется ничего... в такие минуты общение с мудрым дядей стало отдушиной. Я приезжал вечером, мы снимали цепь с лодки, выплывали и рыбачили, а потом до темноты сидели в уютной беседке, обвитой необычайно раскидистым, но редко дававшим урожай виноградом, пили его «авторскую» настойку – совсем немного, закусывали крошкой, и говорили, говорили. Вернее, больше слушал я. Дядя, сводный брат моего отца, родился в тридцать восьмом и пережил войну ребёнком. Помню его рассказы, как в деревню пришли немцы и венгры, как убивали людей... Говорил он и о себе, делился переживаниями о жизни, иногда – о своих детях, особенно о сыне, – да, в общем-то, о многом. Но даже не смысл слов, а только его спокойный, хриплый от многолетнего курения голос уже помогал мне, будто вымывал из меня суету и глупости. Слушая его и откидываясь на скамье, я смотрел, как дотлевают очередные день, и хвалил себя – как же прав, что приехал сюда, побыл с дядей, а не с пафосными сверстниками. К сожалению, мне всегда не везло с друзьями. И дядя Гена был единственным моим настоящим другом.

Глядя, как он сидит – седой, в старенькой выцветшей «гавайской» рубашке с пальмами, как говорит не спеша, иногда слегка помахивая пустой ложкой, я понимал: хочу быть похожим на него, мне нужно научиться жить вот так, размеренно и мудро. Не завтра научиться, не к его годам, а именно сейчас. Но понимал, что у меня вряд ли получится.

Не забыть мне и предрассветных минут, когда дядя будил меня излюбленной фразой «Вставай, сэр!» В сумерках, не завтракая, а лишь хлебнув кофе, мы шли к лодке, укладывали снасти. Я налегал на вёсла, глядя, как над водохранилищем медленно рассеивается туман, и в дымке едва различимы стоящие на воде столбы электропередач, далёкий пляж, храм, левобережные высотки. Дядя Гена знал ориентиры, указывал мне, каким веслом сильнее загребать, а потом командовал остановиться. Рыбалка была для него таинством, он пусть без излишней строгости, но всё же требовал соблюдать правила – нельзя было не только шуметь, но и разговаривать, приподниматься. Он выбирал неглубокие места, и потому каждое колебание могло спугнуть крупную рыбу. А ловил дядя очень хороших карасей, таких, что и поверить нельзя: в нашей огромной воронежской «луже» водятся такие красавцы! Но в последние годы он слабел и даже не брал своих удочек, а только сопровождал меня, молча курил, с какой-то особенной, щемящей грустью встречая холодные рассветы сентября. В такие минуты он нарушал свои же правила и говорил без шепота:

– Вот здесь, где мы остановились, раньше были луга, тут пасли скот, пока не появилось водохранилище. Хорошее место, – он молчал. – А у рыб ведь, как и у нас: трава, деревья, пути-дороги.

– Ага, магазины, офисы, заправки, – шутил я.

– Да кто их знает. Рыбы ведь понимают, как, куда и почему нужно плыть. Это в городе народ бежит без мыслей. А у них как раз по-другому. Запахло жмыхом – там можно поесть. А вот ты, если сидишь в своём офисе, а из окна булкой свежей манит, не пойдёшь же, даже если и хочется, нельзя. Рыба свободна, а ты – нет. То-то и оно.

– Рыбы глупые, не понимают вовсе, что раз пахнет вкусно жмыхом – значит, набросали прикормки, самого тебя хотят съесть, – отшучивался я.

– А у людей по жизни разве не так же всё выходит?

Потом наступала тишина, в которой даже и бесклёвье не казалось скучным. Мы сидели, два человека в лодке на фоне дымки, нового утра и слушали, как оживает большой город.

Теперь я всё чаще вспоминаю эти дни. Дядя Гена умер в затяжную, дождливую ноябрьскую ночь. Перед этим его долго и медленно съедала болезнь, а я, как это обычно и бывает, всё время был занят и никак не мог заехать, поговорить, проститься с ним – некогда, дела, зада-

ния. Не верилось, что он умрёт. Думал, вот на новогодние каникулы у меня наконец-то будет возможность, мы спокойно посидим с дядей. Какие посиделки! Ничего уже быть не могло, надо было спешить, ехать, побыть у кровати, и потому не нахожу себе оправдания. Помню только последний телефонный разговор. «Ну ты как?» – спросил его. «Иду ко дну», – ответил старый рыбак.

В день похорон я также... был занят. Меня куда-то послали как журналиста, хотя послать должен был я, но смалодушничал.

С уходом дяди Гены для меня осиротело это место на берегу. Я приехал в середине марта на его дачу и, сидя в обвитой сухими стеблями продуваемой беседке, почему-то ждал, что вот-вот он выйдет из домика, на ходу застегивая молнию, или, может, поднимется с другой стороны, захрустит ногами по жухлой траве и скажет: «Ну здравствуй, сэр». Его не было. Ни с одного пути, ни с другого. И не было никого в эти дни рядом...

Домик дяди Гены продал его сын, и, казалось бы, времена, проведённые здесь, навсегда стали прошлым, и мне закрыт к ним путь. Нет! Это место – часть меня. Тогда и закралось в сердце желание – скопить деньги на дачу. Ради этого я даже бросил курить и стал внимательнее к лишним тратам. Начал писать больше новостей, а по вечерам и праздникам подрабатывал в такси, благо, устроиться можно без всякого промедления, получил программу на телефон – и «бомби» на здоровье. Правда, работа эта не так уж легка и безопасна, но об этом – в другой раз.

Теперь экономия на всём – в прошлом. Главное, я купил домик! Его продал мужчина лет сорока пяти, молчаливый, с лысым и широким лбом. Мне почему-то показалось, что он – инженер-технар. Обычный такой, увидишь лицо – и забудешь сразу. Я решил, он чем-то опечален или раздражён, но вовсе не тем, что расстанется с домиком. Может быть, эта продажа стала для него вынужденной – я мог выстраивать сколько угодно версий, но говорить со мной о чём-либо, кроме дела, он не собирался. Претензий к домику-«скворечнику» у меня не было – узкий, двухэтажный, со старой мебелью, что я ещё мог желать за свои деньги? Оформление бумаг, очереди в Росреестре тоже стали для хозяина наказанием, но мы выдержали испытание и расстались, почему-то не пожав рук. Вернее, он быстро растаял, как только мы поставили подписи, завершив сделку. Но я на всякий случай сохранил в памяти телефона его номер и имя – Михаил Звягинцев. Уже в день покупки я быстро забыл о нём – поехал на работу, были встречи, пресс-конференции, открытие выставки, митинг дольщиков и прочая ерунда. А вечером меня ждал...

Свой дом, пусть дачный, неказистый, с покатою шиферной крышей, но свой! Я оставил машину там же, на парковке у железной дороги, как если бы приехал к дяде. Шёл узкой тропинкой между домиками, здоровался со всеми, угадывая знакомые лица, хотя не знал ни одного соседа по имени. Звенел ключами, как колокольчиком, будто показывая всему миру – теперь на земле есть пусть маленькая, но моя точка на карте, моё личное пространство! И я буду проводить здесь время, думать, писать какие-то статьи, а может и стихи, как раньше, иногда приглашать друзей и, конечно же, ловить рыбу! Впереди у меня – холодные и ясные зори, поклевки и – хорошее настроение!

Открыл простенький замок (пока вращал ключом, подумал, что при желании попасть в домик нетрудно любому взломщику). Стал внимательнее изучать своё «наследие». Конечно, в основном это был хлам, и я представил, что около месяца буду вывозить на свалку огрызки чужой жизни. Ворохи пожелтевших газет – в основном наша «Коммуна», ламповый телевизор, неработающий магнитофон и гора пиратских кассет с «хитами 90-х», прочий нафталин. Сначала я обрадовался: много книг, но быстро понял, что в основном осталась советская идеологическая макулатура, решения съездов, толстые романы о созидательной силе революции, книги Брежнева и прочая ерунда, на которую в своё время переводили наш чудный лес... Не знаю почему, но я обратил внимание на большую распухшую тетрадь. Мне подумалось, что

кто-то из прежних хозяев завел её, чтобы записывать расходы или иную бытовую мелочь, и решил сегодня же с её помощью разжечь мангал.

В мелких, неспешных заботах, которые меня только радовали, я так и не заметил, как наступил вечер. Я вынес на веранду и включил старый торшер, достал столик, развернул вместо скатерти «Коммуну», поставил пакет вина и плавленый сыр, собрал купленный накануне мангал, готовясь пожарить шашлык и впервые поесть за день.

Ах да, тетрадь. Я сходил за ней. Прежде чем разорвать и бросить на растопку измятые листки, я всё же решил пролистать страницы.

Нет, это были не бытовые записи. И совсем не пустые – я это понял, обрывочно выхватывая мысли из разных мест. Впрочем, налив вина, я быстро забыл про мангал, и стал читать с самой первой страницы.

Глава 2

Здравствуй, милый мой внучек Мишенька... Написал эти строки, и подумал: а ведь машина времени существует! Я сижу на втором этаже нашего дачного домика, сейчас – тихое летнее утро. Я слышу, как звенят детские голоса: ты с ребятами играешь в песочнице, шумишь, не хочешь ни с кем делить самосвал, который я подарил вчера. Тебе шесть годиков, и я рад, что всё лето ты проведешь со мной, здесь. Я обращаюсь из восьмидесятого года, пишу тебе будущему, повзрослевшему, потому и упомянул машину времени. Не знаю – в какое время ты сейчас бегаешь глазами по этим неровным строчкам, но, скорее всего, меня уже нет на земле. Я рад, что тетрадь в твоих руках... Когда ты закончишь читать, наверняка подумаешь: как вышло, что никто ничего не знал обо всём этом? И даже я не отвечу тебе. У меня нет объяснения, почему сыну Андрею, твоему папе, я не говорил почти ничего о своём прошлом. Думаю, вряд ли ему стал бы интересен рассказ – Андрей постоянно занят, всё время где-то шабашничает, даже не успевает побыть со мной и поговорить час-другой. Ему нет дела до меня, старика, к сожалению, нет и до тебя, я это давно понял... Но то, что скопилось на душе, что пережил и увидел, я обязательно должен передать. И вот ты держишь тетрадь, и, наверное, вспоминаешь меня. Потом, может, перескажешь что-то детям, и наша семейная нить не прервётся. Так хочется верить! Пишу с надеждой, что пережитое не унесу в могилу, и не растают в неизвестности имена замечательных людей, о которых пойдёт речь.

Надеюсь, бог даст сил записать всё быстро и кратко – мне шестьдесят, но война, которая хоть и длилась для меня недолго, но запомнилась навсегда, ранение и контузия дают понять, что у меня осталось мало дней. Тем более, после того, как умерла Галя, твоя бабушка, мой путь здесь кажется оконченным... Впрочем, важно совсем-совсем другое. В последнее время меня мучают сны. Ко мне приходят те, о ком пойдёт речь в этих записях. Ты не поверишь, но это правда! А недавно я встал ещё до зари, вышел на крылечко подышать, и увидел, как в туманной дымке у осоки на фоне воды стоят силуэты знакомых, близких мне людей. И, показалось, что держатся они за руки, хотя при жизни не были знакомы, улыбаются и зовут меня. Поверь, это не сбой моего ума, они – настоящие, пришли... Будто призывают меня побыстрее кончить дела земные.

Ты не подумай, Мишенька, что я решил написать скучную стариковскую историю, как родился, где учился, я не стану тебя научать – да и как я могу, когда и сам толком не понял жизнь и ничего хорошего не передал сыну. Я думаю, все трудности и ошибки твоего отца, в том числе и с женщинами, связаны с тем, что я мало уделял внимания его воспитанию. Быть может, из-за моей родительской бездарности он и мучается, вертится, путается. Впрочем, перехожу к рассказу.

Я родился в двадцатом году в Воронеже. Мой отец, выдающийся радиоинженер, в начале тридцатых годов занял высокий пост на заводе «Электросигнал». Мы жили на Плехановской в трехкомнатной квартире с высокими потолками, по сравнению с большинством людей того времени, мы были, без всяких сомнений, небедными. По крайней мере, у меня было всё, что я только хотел, и слово голод, которое привычно для многих людей тридцатых годов, особенно для сельчан, я не знал вовсе. Воронеж рос стремительно, в годы индустриализации буквально за одну пятилетку население выросло почти в три раза. Многие переезжали из деревень и жили в бараках на левом берегу, который только осваивался. Но я мало интересовался этим. Когда отец стал руководителем высокого звена, мне было шестнадцать лет, а в такие годы редко кто думает об общественной жизни.

У меня было всё, что необходимо. Когда у мамы появилась мысль, что мне нужно учиться игре на баяне, уже на следующий день новенький тульский инструмент стоял в моей комнате. Да, у меня была своя комната! Не могу сказать, что мы жили в роскоши, но мои родители

стремились к ней, насколько это было возможно в реалиях того времени. Особой страстью отца были старинные предметы, мебель девятнадцатого века, книги, редкие технические издания. Его библиотеке завидовали друзья – общался он в основном с партийными сотрудниками, руководителями различных ведомств. Сегодня я часто вспоминаю вечера, когда у нас собирались гости, они обсуждали разные темы, в том числе и книги. Это были люди особой культуры, по крайней мере, так любила повторять мать. Меня часто просили сыграть что-нибудь на баяне, и дядя Женя – самый близкий друг отца, майор НКВД, улыбался и даже иногда хлопал в ладоши, когда я исполнял «Мы красные кавалеристы», «Варшавянку» и другие песни гражданской войны. Мама никому, даже секретарям райкомов партии, не разрешала курить в гостиной, и люди выходили на балкон, дымили папиросами и трубками, смеялись. Тогда Плехановская шумела не так, как теперь. Лишь редкие полупорки и гужевые повозки проезжали, подпрыгивая на ухабах – в то время не было асфальта, ямы и даже канавы пересекали улицу. Помню, как начались перемены, стали появляться трамваи... я постоянно выбегал на балкон, чтобы проводить взглядом эти рогатые, похожие на больших насекомых машины. До сих пор помню учреждения, которые были на нашей улице – «Маслопром», «Заготзерно», «Главшёлк», «Мехторг». Их сухие названия для меня теперь, наоборот, сочны и приятны. Также на нашей улице тогда находился Госцирк имени Будённого, он был разрушен потом, в первые дни боёв в Воронеже. Этот цирк запал в моей памяти соревнованиями по борьбе, которые проходили там, кажется, в тридцать шестом году.

Впрочем, отвлёкся. Гости подолгу курили на балконе, затем возвращались к столу, который вспоминается множеством закусок и графинов с настойками. Друзья отца относились к спиртному, как к формальному атрибуту, и больше произносили тосты, чем пили. Я вообще не помню, чтобы кто-то перебрал и был не в себе. Сегодня, при Брежнев, пьют просто страшно... Да, мама права, это были люди особого устройства, таких сейчас уже и не встретить. Многие из них пострадали от репрессий, иных забрала война... Среди гостей были видные учёные, они много тогда говорили о науке, о прогрессе, и я прислушивался, невольно заражаясь страстью к познанию устройства мира, не зная граней, не понимая, куда может привести любознательность... Когда вечерело, и гости один за другим разбирали в прихожей пальто и шляпы, благодарили хозяев, я выходил на балкон и долго вглядывался в тёмно-сизое небо, мечтал. Уже тогда, в шестнадцать лет, я чувствовал всё величие, многообразие и... одиночество вселенной. И я тоже был одинок, как холодно мерцающие звёзды.

У меня не складывались отношения с родителями. Папу я видел редко – машина за ним приходила, когда я ещё спал, и возвращался он поздно. Единственный выходной он также проводил не со мной, а с товарищами, но чаще у него и вовсе не было никаких выходных. Мама тоже почему-то всегда была холодна со мной, хотя внешне это не проявлялось. Но сердце не обманешь – даже когда она говорила что-то мне, то казалось, думает о своём. Я знал, что в семье, несмотря на внешний достаток, был разлом. Видимо, между родителями укрепились недопонимания, которые не привели к распаду семью (да и в то время развод сулил бы отцу концом карьеры), но и подлинной любви, тепла внутреннего, я не ощущал.

Сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю – всё, что случилось со мной в дальнейшем, заложено именно в то время. Искания, мои ошибки, которые могли стоить жизни, – всё это основано на скрываемом от внешнего мира семейном разладе. Иногда муж и жена ругаются, ссорятся, но остаются крепки их духовные связи. Я наблюдал обратное: улыбки, милые разговоры отца с матерью, за которыми не было чувств. Маленький мир вокруг меня приторно вонял надушенным лицемерием.

Ещё в школе я любил писать сочинения, отдавая мысли бумаге, искренне рассказывал ей всё, как сельский мальчик на исповеди. Однако не получал высоких оценок, видимо потому, что не очень хотел воспевать счастливое время, роль и достоинства Вождя. Нет, я не был и не стал потом каким-либо скрытым противником сталинизма, и я действительно должен был быть

только благодарен за сытое и счастливое детство... но искренне не понимал, почему каждый выдох и вдох нужно делать с единственным именем на устах? Я хотел думать не о Сталине, а о звёздах и космосе. Почему каждый учебник, справочник, даже посвященный русскому языку или ботанике, начинался, сопровождался и завершался цитатами руководителя страны? Я тогда не знал, а ведь мне было бы лучше не задаваться подобными вопросами, а жить и развиваться дальше.

Страсть к сочинениям определила и мою судьбу – я стал газетчиком. Впрочем, я мечтал о писательстве, хотел стать новым Максимом Горьким, а лучше Алексеем Толстым и написать свою «Аэлигу», но отец настоял именно на этой профессии. Он надеялся, что я пройду путь от корреспондента до редактора и стану уважаемым человеком. Он знал всех руководителей прессы, и после учёбы в техникуме Харькова меня приняли в штат комсомольской газеты.

Что же это была за эпоха? Вторая половина тридцатых годов – эра стремительных перемен, излома, небывалого взлёта. И меня это время будто подняло на алых крыльях, понесло и... бросило с высоты, разбив жизнь и душу на тысячу осколков.

Главный редактор газеты – Степан Степанович Гейко, в первый же день моей работы пригласил в свой кабинет. Это называлось «вызвать на разговор», и все боялись таких встреч. В редких, как правило, «нехороших» случаях, такие беседы занимали час и больше. Гейко всё контролировал сам, и он любил давать задания напрямую, хотя и были в штате ответственный секретарь, редакторы отделов. У него – сорокалетнего нервного толстяка, было раскрасневшееся лицо, он часто пил из графина, отвлекался на телефонные звонки, во время которых требовал от меня побыть в коридоре. Так, урывками, под грозными портретами Ленина и Сталина он и объяснил мне, новому сотруднику, задачу – освещать роль политпросвещения для комсомольцев.

– Сейчас создаются двухмесячные кандидатские школы, кружки политграмоты, ты будешь рассказывать об их работе. Также закрепим тебя за совпартшколами и комвузами, – чеканил он, даже и не глядя на меня. Гейко вообще не интересовало, чем я хотел бы заниматься, какие темы мог бы предложить – он направлял меня на нужный участок, будто солдата на чистку туалетов. Во всяком случае я, в силу ершистости характера, воспринимал это так. Я же ведь, юнец после техникума, считал себя одарённым человеком, у которого «золотое перо» вшито в руку от рождения. Позже я дерзнул заявить о своём даре Степану Степановичу.

– Ну и направь его, этот свой талант, в дело, а то пишешь сухо, неинтересно, – говорил он, постоянно отвлекаясь на бумаги и забывая, что он в кабинете не один. У редактора было свойство – ругать за ошибки, но оставлять без обсуждения заслуги, воспринимая их как норму. – Звягинцев, ты будто и не веришь в то, что пишешь? В наше время перемен, успехов, ударного труда нельзя быть таким вялым! Раз говоришь, что можешь хорошо сделать материал, так давай! Пиши фельетон! Вот тебе хорошая тема на злобу дня!

Степан Степанович надевал на нос очки-велосипеды, находил в завале бумаг листик. Я всегда удивлялся, как он умел за секунду найти нужную бумагу, даже если это был обрывок. Говорили, что и по требованию высшего начальства он также умел со скоростью света найти любую цифру, назвать точный факт или дату:

– Вот смотри, Звягинцев, факт какого безобразия! В прошлую пятницу на лекториях из двухсот с лишним членов комсомольской ячейки железнодорожных мастерских присутствовало только шестьдесят, – он сделал паузу и посмотрел на меня, чтобы я до конца осознал масштаб проблемы. – Какие же это комсомолыцы, если им дела нет до политучёбы? Так и напиши, мы должны бить правдой в лицо бездельникам и ротозеям! – на этих словах он покраснел ещё сильнее. – В фельетоне укажи, что некоторых, кто смеет называться комсомольцами, больше интересуют гармошка и бутылка, танцульки, да стишки есенинские. И это вместо учёбы! Пойми же, Николай, – он редко, но называл меня по имени, видимо хотел донести что-то до самой глубины моей души, – пойми, что мы каждый день заняты важным делом! Именно

мы, работники советской прессы, находимся на страже идейных основ народного государства! И имеем все возможности, чтобы исправить нашу жизнь, повлиять, высмеять и навсегда победить пороки, изменить, в конце концов, умонастроение масс! Ты меня понял? Ну что, твоего таланта хватит решить поставленные задачи?

Я скучно кивал.

– Так... – он молчал, вспоминая, что ещё должен сказать, – не забудь, что сегодня на заводе имени Коминтерна заседание молодежного клуба воинствующих безбожников. Затем готовься в среду – отправим тебя с бригадой «синелузочников» – они будут выступать перед рабочими в цехах между сменами. Подробнее расскажет твой начальник отдела. Есть ещё вопросы?

Я молчал, и Гейко снимал тяжёлую чёрную трубку, требовал соединить с кем-то, показывая, что меня для него больше нет...

О чем же я писал в те дни? Тогда мне казалось – о скучной повседневности, которая до тошного безумия наполнялась пропагандой и лозунгами. Но сейчас, вспоминая то время, сравнивая с новым, понимаю, что я стал свидетелем, скажу громко – одним из летописцев особой, переломной эпохи в жизни нашего города, целой страны. Глядя на современную молодёжь, мне кажется, что мы, по сравнению с ней, верили в коммунизм искреннее, старались быть достойными людьми. Сегодня даже мои сверстники порой смеются за спиной над начальством, над Брежневым. Это плохо, ведь если над властью можно смеяться, значит, её конец совсем уж близок.

И мне бывает грустно, хочется порой вернуться в годы юности и повторить их. Да, несмотря ни на что! На моих глазах быстро рос, строился Воронеж. Закладывались парки, скверы, возводились новые предприятия, здания, научные центры. Уходило безвозвратно прошлое – церкви, в том числе и Смоленский собор на Плехановской, превращали в склады, амбары. Людей старались привлечь к общественной жизни через народные кружки, лекции, клубы. Всё делалось для того, чтобы выстроить совершенно по-новому и быт, и культуру. Вернее, подчинить сердца и умы идее социалистического строительства. Тогда в это верили по-настоящему, мне думается, теперешняя молодёжь уже совсем иная.

С другой стороны, я видел, как в годы моей юности менялись люди. Честно скажу, не всё понимал и принимал. Женщины стали терять нежность, навеки утратили «тургеневский» облик, перестали быть хранительницами очага, тонкими, ранимыми существами. Они наравне с мужчинами осваивали самолёты, тракторы и самосвалы, крутили гайки и работали на станках. Помню, как меня направили написать очерк в район – про Мотю Тимашову, которая одной из первых женщин освоила в Центральном Черноземье трактор, а затем организовала женскую бригаду. Я писал о санитарном улучшении общежитий, о недопустимости воровства книг, о внедрении кинофильмов для пропаганды, о рабфаковцах, колхозниках и прочем, прочем...

Но особый след оставила в душе лекция молодого учёного, который рассказывал, что мы, поколение молодежи тридцатых годов, станем свидетелями полёта человечества на ракетах, что советские люди стремительно освоят космос. Юный лектор, заикаясь, говорил, что на других планетах солнечной системы наверняка есть жизнь, по крайней мере, в форме бактерий, и очень скоро мы полетим на Марс, установим там красный флаг и примем его природные богатства на народный баланс. Помню, двое ребят, которые шумно вели себя на той лекции, со смехом выкрикнули: «Ага, а из марсианской окиси железа мы наладим вселенское производство сурика!» А я не смеялся. Эта лекция, а вернее, её тема задела во мне какие-то особые струны. Не знаю почему, но тогда я становился сам не свой, лишь только речь заходила о далёких небесах. Я подолгу гулял один, иногда уезжал на велосипеде за город и, лежа в стогу сена, смотрел на звёзды...

Всё изменилось в весенний вечер сорокового года, когда, прогуливаясь недалеко от дома, я познакомился с удивительным человеком, который навсегда перевернул мою жизнь...

Глава 3

Я отложил тетрадь. Даже не заметил, как стемнело. Вспомнил о шашлыке, и чувство голода, которое на время чтения ушло, вдруг напало на меня зверем. Я выпил ещё вина, закусил сыром, и в голове зашумело, мысли стали гулять беспорядочно, звенеть, как ночные комары. В полумраке домика я на ощупь отыскал ворох газет, и, порвав их, легко разжёг ветки в мангале. Насекомые от едкого дыма быстро отстали, но сбились и жужжали рядом, словно ругали меня. Я дул на огонь, языки плясали, слегка обжигая лицо.

Я подумал: так кто же занят настоящей журналистикой – автор этих воспоминаний, или я, корреспондент нового века, работающий на сайте новостей? Он пишет о своём времени, где были стройки, люди, труд, вера, но хватало и привычной, как сегодня, дурости, лени – да чего угодно. Чем занят я? Ежедневно освещаю какие-то пресс-конференции, встречи, на которых с деловым видом люди в пиджаках что-то заявляют, и это что-то чаще всего либо имеет мало общего с реальностью, либо забывается на другой день. Я давно заметил: прочитав новостную ленту, уже спустя час-другой я совершенно не помню, о чём шла речь. Потом убедился, что это не моя особенность, все живут в таком ритме, хватают и пережёвывают на ходу новости, как безвкусную жвачку. Я часто бываю на открытии очередных магазинов, офисов, фондов и хвалю их хозяев, понимая, что делаю это только ради заработка, не верю и, главное, не хочу верить их словам и тому, что пишу. Так что же в итоге? В советские годы власть пыталась с помощью печатного слова изменить человека, сделать его целеустремлённым и послушным трудягой. А сегодня... да в принципе то же самое, но разница в том, что в те годы систему создавали для сверхцелей государства, а сейчас – для определенных структур. Даже социальные акции, помощь детским домам, открытие благотворительных фондов сегодня служат одной цели: оправдать систему, показать «человеческое лицо» людей капитала. Нет, давно прошло то время, когда меня привлекал протест, идеи левых партий, но всё же к своим тридцати с небольшим годам я кое-что понял, и уверен в правоте выводов.

Я отвлёкся от костра и посмотрел на тетрадь. Да, мне становился интересен, близок человек, оставивший когда-то эти записи. Хорошо, что не сжёг, а ведь мог запросто. Только читать тяжело, почерк плоховат. Мне бы хотелось, чтобы разбухшая тетрадь вдруг расплылась перед глазами, слегка приподнялась со стула, увеличилась, преобразилась и стала тем человеком, что заполнил её текстом. Чтобы не малоразборчивые буквы старого человека были перед глазами, а он сам сел рядом, выпил вина, неспешно рассказал дальше свою историю. Читая воспоминания, на первых страницах я испытывал неловкость, ведь слова обращены не мне, а внуку... Кстати!

Я нашупал в кармане телефон, нашёл книгу вызовов. Да, Михаил Звягинцев, так зовут человека, который продал дачу. Это, скорее всего, и есть внук Мишенька, ради которого и писалась тетрадь. Пока я пробежал только начало записей, и меня ждали новые страницы. Да, сказал я себе, пускай некрасиво заглядывать без приглашения в чужую жизнь, у меня нет морального права на это, но я уже не смогу остановиться. Вино и сыр немного отогнали чувство голода. Огонь разгорался, комары окончательно отступили в синюю звенящую темень, и я, положив в мангал крупные поленья, вновь сел под тускло-жёлтый свет старого торшера.

Глава 4

Итак, Мишенька, прежде чем описать эту встречу, начну с другого. Я закурил весной тридцать девятого года. Просто так, за компанию, угостился папироской у товарища по перу Васи Пенькова, потом купил пачку «Казбека» с красивым горным пейзажем, да так и втянулся. Отец мой не курил, а мать не переносила табачного дыма, о чём я писал ранее. Я не хотел её огорчать – у меня и так было подорвано здоровье, из-за которого меня признали негодным к строевой службе (это, кстати, сильно меня расстроило тогда). Поэтому свою новую привычку я скрывал, и дома никогда не курил. Вернувшись из редакции и поужинав, я каждый вечер отправлялся на прогулку, чтобы неспешно побродить-подышать. Странно, к двадцати годам я так и не нашёл близких друзей, хотя и общался с некоторыми коллегами по «печатному цеху», и у меня... не было ни одного свидания. Даже при одной мысли о девушках я робел и терялся. Слышал, что мама хотела меня познакомить с дочерью какого-то партийного работника, но отец отрубил, сказав, чтобы она до поры до времени «не дурила мне голову». Пока я не поднимусь хотя бы до заместителя начальника отдела в редакции, ни о каких встречах-свадьбах не может быть и речи. Я всё больше замечал, что отец был мной недоволен, хотя открыто никогда об этом не говорил. Я уже упомянул, что в нашем доме вообще не было принято вслух выяснять отношения и даже спорить. Но по одному только строгому взгляду я понимал, что он считает меня «заболтанным тунеядцем», живущим у него за пазухой, который не хочет работать и расти над собой в силу того, что сытость и покой достались «на тарелочке». Наверное, он был прав...

Сейчас я думаю: что же определяет нашу жизнь? Мы ли выбираем путь, или мельчайшие детали, совпадения без нашей воли направляют нас, меняют, а порой и ломают всё? Стоит подумать – ведь если бы не та первая папироса и привычки к курению, ежедневным вечерним прогулкам, то вся жизнь пошла бы иначе. Какая мелочь! Впрочем, мелочь? Порой лёгкий ветерок может стать причиной схода лавины, крошечный уголёк сжечь могучий лес, а маленькая соринка вывести из строя сложнейший механизм.

Прогулки по вечернему Воронежу стали для меня ритуалом. Я почти каждый день заходил в библиотеку, брал книги или научно-популярные журналы, мне выдавали даже некоторые редкие издания, ведь сотрудники хорошо знали и уважали моего отца-книгочея. Я любил задуматься, сидя с папироской на лавочке в сквере на бывшей площади Круглых рядов. И вот майским свежим вечером, когда белые шапочки соцветий украсили деревья, пели птицы, я встретил у окружённого тюльпанами невзрачного куба – памятника жертвам белого террора, пожилого человека. Он стоял, сгорбившись и потупив взгляд. Рядом на асфальте лежала вязанка потрёпанных книг. Я лишь подумал, как тяжело старику нести их, и он будто прочёл мои мысли, обернулся. Мне бросились в глаза его старомодный, но чистый пиджак, тонкий галстук и мохнатые коричневые бакенбарды, рваные и неухоженные, будто бы человека всю жизнь таскали за них. Я пишу и как будто вижу его большой орлиный нос, кустистые брови, губы, которые тепло, как-то особенно улыбались мне. Я обратил внимание на большой перстень с гранатовым камнем, золотую цепочку часов. Мне подумалось, что этот человек беден, но никогда не продаст эти фамильные драгоценности. Почему я решил, что фамильные? Не знаю, но во всём, даже в молчании его, я ощутил какой-то странный, совершенно не знакомый мне подчёркнутый аристократизм. Таких людей, как он, в то время уже не могло быть! Я пригляделся: ему, скорее всего, было чуть больше шестидесяти лет, но всё же он выглядел именно потрёпанным замученным стариком.

– Здравствуйте, молодой человек, – обратился он, и уже в первых словах мне послышалась вежливая, извиняющаяся просьба. – Мне неудобно вас так грубо беспокоить, но чувствую, мне никак не донести моих сокровищ, – он посмотрел на перевязанные бечёвкой книги. –

Больше не могу их поднять – так сильно отдаёт болью в спине. Смилюйтесь, помогите донести – тут совсем недалеко, я снимаю угол на Богословской.

– Где? – удивился я, услышав странное название улицы и представив, как далеко меня просят нести увесистые тома.

– Простите, на Чернышевского, – он снял пенсне, протер платком и улыбнулся ещё добрее, – я, знаете, очень хочу, но так и не могу привыкнуть к новым названиям. Вот, знаете ли, приезжал когда-то Чернышевский в Воронеж, привозили его ещё ребёнком поклониться мощам святителя Митрофана. А он-то, Николай Гаврилыч, безбожником стал, а значит, закон вечности отрицал. А теперь вот улица его имя носит... Чтобы вечно помнили... А я не запомнил ещё.

– Удивительно, – не удержался я, – вот я, перед вами, ровесник этих переименований. И вы двадцать лет живёте и помните старые названия улиц?

– Нет, я вовсе не живу старым, поверьте мне.

Я тоже улыбнулся, хотя и понял, что странный человек добродушно посмеивается. Из сквера до Чернышевского было десять минут пути, и я согласился помочь.

– Вижу, вы тоже любите почитать? Это правильно! – сказал собеседник, видя, как я беру под мышку два номера журнала «Наши достижения», которые я только что получил в библиотеке, а свободной рукой поднимаю его «сокровища».

Мы долго шли молча, причём старик немного отставал. Затем он поравнялся и сказал:

– Прошу прощения, ведь я не представился. Карл Леонович.

– А меня зовут Николай. Вы немец? – спросил я. Мне не было интересно, кто он – просто как-то неудобно стало идти молча.

– Давным-давно, – он растянул по слогам, – обрусевший немец.

Мы вышли на улицу Володарского. Я посмотрел на пятиэтажный угловатый дом из серого мрачного кирпича с номером семьдесят. Я знал: в нём жили сотрудники НКВД, в том числе и друг отца майор дядя Женя, который был там, наверное, самым высоким чином.

– Любопытное здание, – видя мой интерес, сказал спутник. – Стиль конструктивизм – высокие кирпичные стены, огромные окна, остеклённая башенка есть, сдвоенные лоджии.

– А я бывал там, – ответил я с гордостью, ведь попасть в «дом чекистов» можно было только через центральный угловой подъезд, где круглосуточно находился дежурный с наганом. Он записывал имя каждого посетителя. – Хорошо там жить – своя водонапорная башня, котельная, даже санчасть есть и магазин.

– Нет, лучше уж там не жить, не бывать, – с грустью, удивившей меня, ответил старик.

Неподалёку играл духовой оркестр, исполняя «Над рекой голубой». Я любил эту мелодию, и шёл, представляя, как мои пальцы перебирают клавиши баяна. В тишине мы оба прислушались, как летит, незримо кружится, вальсирует в остывающем вечернем воздухе лёгкая музыка.

– Так что же нового происходит? – спросил мой спутник, когда оркестр остался за спиной и мы добрались до горбатого моста. – О чём, так сказать, пишут в «Наших достижениях»?

– Честно сказать, ещё не читал журналы, а только взял их, – ответил я. – Но судя по лозунгам на обложке, коммунизм строится.

– Действительно, строится, – прошептал Карл Леонович. – Скажите, пожалуйста, Коленька, можно я буду вас так называть?

– Конечно, – ответил из вежливости, хотя меня коробило мягкое обращение незнакомого человека.

– Коленька, чем живёт молодёжь? О чём мечтает?

Пока мы брели по Чернышевского, я кратко рассказал о своей работе, о лекториях, клубах, достижениях передовиков. Карл Леонович свёл лохматые брови, слушая с неподдельным интересом. Поморщился он лишь, когда я упомянул недавнюю «Красную пасху» – её устроили

комсомольцы в пику церковному празднику, который по-прежнему отмечали многие. Молодёжь провела шумный и, как подчеркивалось в ячейках, добровольный сход в парке, и под общие крики и улюлюканье сожгла чучела попа, старухи-богомолки и Христа на кресте.

– Мракобесие порождается вовсе не наличием веры, религии, а злобой и темнотой, – вдруг прервал меня немец. – Великих учёных средневековья сжигали личности, не имеющие ничего общего с христианством. Столетия идут, но ничего не меняется. Больно, больно слышать, лучше бы я вас и не спрашивал.

Я удивился – неужели этот человек живёт, не зная, что же происходит в Воронеже?

– Ну, не сравнивайте, – вступился я. – Тогда людей убивали за убеждения, а комсомольцы сожгли символические чучела пережитков прошлого. Это две большие разницы!

– Пока в сердцах злоба, нет нравственности и любви, людей будут отправлять на костёр.

Я запомнил слова, но понял их не сразу. Сейчас мне кажется, что именно с этого дня у меня началась осознанная жизнь. Я стал запоминать события в красках, встречи, разговоры обрели для меня какой-то особенный смысл, словно легли на душу исписанными страницами. Я и теперь вижу образы, будто опять слышу разговоры и спешу записать их примерное содержание на бумаге для тебя, Мишенька. Странно, но снова хочется сказать о машине времени. Сейчас, несмотря на минувшие десятилетия, пишу и вижу, как мы идём со стариком, навстречу бегут, размахивая портфелями, пионеры. На углу продают сладости, и скопилась очередь – в основном из молодых людей, которые так хотят угостить подруг в эти неповторимые часы мая...

Дом, где жил Карл Леонович, почти примыкал к реке Воронеж, и с высокого места уже была видна голубовато-золотистая на закате вода. Немец без слов взял меня за плечо и указал путь во дворы. Сделав несколько шагов, картина изменилась, будто мы шагнули из города в деревню – женщина мыла в железном тазу простыни и даже не посмотрела на нас, мы обошли развешанное на веревках капающее бельё. Пахло щами из кислой капусты, из окна первого этажа доносился разговор на повышенных тонах. На низкой скамеечке сидел старик в полинялом кителе, с медальками на груди, тянул трубку. Я взглянул в его глаза, и они показались совершенно прозрачными. Подумалось, что он слеп, но лишь только мы поравнялись, он прокричал:

– Так ты что же, Леоныч, точно в империалистической не участвовал?

– Не обращайтесь внимания, – смутившись, сказал мой спутник. – Каждый раз так. Это Василь Петрович, у него двух сыновей убило в четырнадцатом году, а двух помладше забрала гражданская война. Он в беспамятстве.

Так мы и прошли мимо, а старик проводил нас своими прозрачно-вопрошающими глазами.

Карл Леонович оттянул скрипящую тугой пружиной дверь, и мы гулко затопали по тёмному коридору, поднялись по узкой некрашеной лестнице. Я подумал: «А ведь раньше никогда не приходилось бывать в таких местах! Может, стоило оставить книги прямо здесь, да и идти домой?» За одной из обшарпанных дверей кто-то неумело наяривал «елецкого» на гармошке, слышались смех и мат, за другой плакал младенец. Навстречу вышла женщина с каким-то жаревом на сковородке. Не вынимая папирсы, рассмеялась:

– О, мальчишечку нанял, Леоныч, прям как бюргер! – но смотрела только на меня. – Я бы тоже такого сладкого наняла, на часок. Поможешь и мне по хозяйству, мальчик?

Карл Леонович, видя моё смущение, взял меня за локоть и повёл мимо гомона. От его прикосновения стало легче, будто кто-то сильный и хороший повёл если не через ад, то, по крайней мере, через бесконечно тёмное и грязное место.

Наконец, в самом углу длинного коридора, мы остановились перед зелёной дверью: железная цифра восемь была сбита и лежала на боку, как знак бесконечности.

Немец пошевелил ключом, и когда замок поддался, пригласил меня войти первым...

Глава 5

Я поднял глаза – фруктовые поленья прогорели, угли ярко пульсировали тёмно-красными огоньками, но так почему-то не хотелось вставать, нанизывать шашлык и жарить... Не скажу, чтобы меня сильно захватила история, но всё же было в записках нечто особенное.

Тем не менее я поднялся и занялся шашлыком. Пока жарил, переворачивая шампуры с ароматными, шипящими кусочками, думал... о дяде Гене и себе. Мне казалось очевидным, что рассказчик и странноватый немец непременно подружатся на следующих страницах, иначе не описывал бы он в таких красках эту встречу. И снова между мной и Николаем Звягинцевым, истинным хозяином этой дачи, оставившим внуку воспоминания, пробежала искра. Так получилось, что и я сблизился с человеком намного старше меня, нашёл общий язык, причём получилось это тоже словно само собой, нечаянно.

Я оставил мангал – жар слегка ослабел, и можно было переворачивать реже. Отошёл чуть от домика, в темноту, и зашагал по тропинке к шелестящей прибрежной осоке. Подумалось – ведь мы живём в прекрасном месте! Моя дача – у воды. Недавно читал в интернете, что наше «воронежское море» уникальное, что в мире вообще нет второго такого большого водохранилища, полностью находящегося в черте города. Вдохнул влажный воздух... Эх, морюшко. Сколько о тебе сказано плохого – что по составу твоей воды можно изучать таблицу Менделеева, что грязное ты, вонючее. Будто само себя сделало таким, без людского участия. А ведь пора бы остановиться, задуматься, и богатым мира сего совместно с властью выделить средства на очищение, а не конференции проводить бесконечные по теме спасения Воронежского водохранилища, о которых мне приходится писать...

Я спустился к мостику и стоял, положив руки в карманы. Далёкий левый берег горел множеством окон. Подуло ночной прохладой, и стало как-то особенно легко, чисто, хорошо на душе. Вновь пришла мысль, что я провожу первую ночь на своей даче, и так получилось, что она складывается незабываемо! Я опять вспомнил дядю Гену, вечера в беседке, и даже с некоторой ревностью обернулся в её сторону – до неё отсюда было рукой подать... Пойти, что ли, посидеть там?

Но запах подгоравшего мяса заставил меня вернуться к себе. Здорово, – к себе! Каждый раз, возвращаясь к этой собственнической мысли, я только радовался. Никакая власть не победит в нас, простых людях, это счастье: ощущать личное пространство, пусть даже это избушка пять на пять метров.

Перед домом кто-то сидел на корточках, переворачивая мясо. Мангал дымил, так что, подойдя совсем близко, я не смог рассмотреть лица.

– Ты что ж гуляешь, когда у тебя тут пожарище? – сказал незванный гость. Это был человек лет пятидесяти, в очках.

– Здравствуйте, я ваш новый сосед, – сказал я. – Только сегодня вот дачу купил.

– Да знаем, – сказал он, и я удивился. Ни внук Звягинцева Михаил, человек довольно молчаливый, ни я ни с кем не обсуждали покупку, но, видимо, в каждом домике уже в курсе, что здесь новый хозяин. Мне вспомнилась коммуналка, о которой читал только что, и понял, что со временем меняется немного.

Не разговаривая, мы дожарили мясо, сняли его с шампуров, и я быстро сбежал в домик, нашёл ещё одну кружку, разлил остатки вина из пакета, не спрашивая, будет ли мой гость. Он не отказался.

– Ну, за знакомство, шашлычник! – сказал он, выпив немного и закусив обугленным кусочком.

– Спасибо, что помогли!

– Давай на ты, мы же дачники, – сказал он, немного развалившись на стуле, в котором недавно сидел я. Нечистыми после шашлыка руками он взял тетрадь и стал её небрежно перелистывать. Мне было неудобно его одёрнуть. Я спросил:

– А вы знали Николая Звягинцева?

– Дядю Колю что ли?

Я помедлил, глядя с облегчением, как собеседник оставил тетрадь в покое, вернув на лавочку рядом с торшером.

– Дядя Коля был очень хороший человек, – произнёс сосед после долгой паузы. – Стоп, а когда он умер? – он посмотрел на меня так, будто я должен знать. – Я его видел в последний раз... Да, наверное... Хотя, какая разница. Хороший был дядька, рыбак, всегда и радостный такой, и немного грустный... Выпить у него всегда было, хотя он чаще угощал, а сам не пил. На баяне здорово умел играть, помню вечер...

Он замолчал, думая о чём-то, а потом вдруг поднялся с кресла.

– Рад, что ты дачу купил, хороший, видно, парень! – он протянул мне руку и потербил, уходя. – А за огнём следи – это тебе не шутка! Чуть что, все загоримся, тут тебе не того! Раз затеялся жарить, да ещё мангал поставил у крыльца – изволь следить, а не по надобности бегать!

Я проводил его взглядом, улыбаясь. Сходив к колонке, набрал в пустой пакет от вина воды и залил огонь. Посидев и пожевав ещё шашлык, подумал – то ли пойти спать, то ли ещё почитать немного... Впрочем, лучшее решение – хороший чай и чтение. Быстро нагрел электрочайник, я заварил пакетик и, прихлёбывая, вернулся к тетради.

Глава 6

Карл Леонович жил в тёмной каморке, и на фоне заката в единственном узком окне кружились пылинки. Оглядевшись в этом маленьком пространстве, я подумал – куда бы положить книги? Опустил ношу на пол рядом со стоящим на кирпичях матрацем. Высвободив пальцы от бечёвки, почувствовал облегчение, поднёс покрасневшую ладонь к губам. Карл Леонович смутился:

– Простите, что заставил вас так потрудиться. Я не знаю, как и отблагодарить. Могу ли угостить чаем?

– Нет, я пойду, – ответил я, но Карл Леонович остановил меня.

– Ни в коем случае! Поверьте, я угощу вас, Коленька, особенным чаем, – в его глазах я прочёл искреннюю просьбу остаться. – Побыв немного ещё и составив мне компанию, вы доставите истинное удовольствие! Я мигом сбегая к Наденьке! – и, не выслушав мой повторный отказ, он закрыл дверь.

Я сел на низкий табурет, положив на колени журналы «Наши достижения». Только теперь глаза привыкли к полумраку, и я увидел, что вся комната завалена книгами и папками, а в углу стоит громоздкая подзорная труба.

Кто же этот странный человек?

Мне подумалось, что каждый из потёртых томов хранит древние, утерянные миром знания, и Карл Леонович – последний на земле алхимик. Он собирает их в своей тайной лаборатории и по крупицам сшивает лоскуты прошлого, чтобы однажды пролить свет, выдать из этой душевной кельи великую истину. И, как потом выяснилось, я был прав – пожилой немец действительно заглядывал из этого чулана в неведомые дали.

Старик вернулся довольно быстро. Из носика алюминиевого чайника шёл пар, и комнату наполнил приторно-сладкий аптечный запах.

– Я очень люблю заваривать ягодки калины, – говорил он, разливая по железным кружкам. – Удивительное растение. Вы слышали про Калинов мост?

– Это сказка, в смысле?

– Да. Я давно открыл для себя удивительный, глубокий мир русских песен, сказок и понял, что славянские народы ещё в древности владели знаниями многих тайн космоса и мироустройства. Калина – от слова раскалить, я понял так, что мост в том предании был горящим, и ягоды калины по осени горят в лесу, как последний предзимний закат...

Я не очень понял, зачем это было сказано, но слова мне запомнились. Наступила пауза, и я взял кружку, поднёс к губам, но тут же обжёгся и поставил обратно. Я никогда раньше не пользовался железной посудой. Заметив моё замешательство, немец улыбнулся:

– А это просто физика, мальчик мой, замечательная наука! Металл ведь отлично передаёт жар этого напитка! Я люблю пить из таких кружек, чтобы обжигаться калиновым огнём!

Любой другой на моём месте мог бы подумать, что старик не в себе. Но я понимал, что его надо научиться понимать:

– Вы учёный? – спросил я, глядя на старую подзорную трубу.

– Не знаю, как лучше ответить, Коленька, – он помолчал. – Учёные бывают разные, некоторые люди, относящиеся к ним, вызывают у меня восторг и желание прислушаться к их мыслям, но немало и тех, кто имеет высокие степени и награды, при этом суждения их лженаучны и вредны.

– Так значит, вы просто так читаете, занимаетесь, интересуетесь? Из любопытства? – спросил я и подумал, что задаю много вопросов, словно и вечером остаюсь корреспондентом на работе. Видимо, это уже вошло в привычку.

– Нет, не только, я ещё и пишу сам. И довольно много пишу.

Я ждал продолжения мысли, но Карл Леонович спросил:

– А вы любите науки, Коленька?

– Честно сказать, в школе легко давались литература, история, языки. А вот когда изучали науки точные и естественные, меня они как-то не интересовали вовсе, – старик располагал к простому и откровенному разговору. – Скажем так, яблоко упало на голову Ньютону, знаете?

Он тихо засмеялся.

– Так вот, на уроке все обсуждали, какой закон он открыл, а я, услышав эту историю, задумался больше, а съел ли он яблоко потом, или нет?

Карл Леонович сказал:

– У вас особый склад ума, это сразу видно. А познание точных и естественных наук зависит от того, кто и как учит. Нет человека, который не смог бы постичь их, был бы талантливый педагог.

Он пил розоватый чай, морщась от удовольствия и прихлёбывая:

– Да, я собираю познания, и у меня много книг. Но они нужны мне не сами по себе, а только для того, чтобы получить дополнительные знания, факты для моей теории космогенеза.

– Простите, не понял...

– Развития космоса, планетообразования. Я работаю точно по такому же принципу, как, скажем, многие писатели. Когда они пишут исторический роман, то читают не всё подряд, а отбирают именно те крупницы, которые нужны им для конкретного сюжета.

– Ну, у вас здесь собраны не крупницы, а целая библиотека, которой позавидовал бы мой отец!

– Бросьте, что стоят все эти знания, и даже то, что пытаюсь понять я, по сравнению с законами космоса! – он привстал. – Если хотите, я расскажу вам.

Я кивнул и приготовился к долгому и малоинтересному рассказу, в котором я, скорее всего, не пойму и слова.

– Так вот, Коленька, – он достал из-под матраца несколько увесистых папок. – Это мои главные труды.

Названия были выведены аккуратными буквами. Причем как на русском, так и на немецком языках. Первая папка была тоньше других: «Теория атома».

– Я создал модель атома, отличную от предложенной Нильсом Бором, – пояснил он. – В его модели много недостатков: она не объясняет интенсивность спектральных линий, справедлива только для водородоподобных атомов и не работает для атомов, следующих за ним в таблице Менделеева. Моя же теория основана на более общих и непротиворечивых исходных положениях.

Я пролистнул жёлтые листы, однако содержание не захватило меня, а больше поразила аккуратность почерка, длинные вереницы формул, рисунков и пояснений к ним. Также стало ясно, что работа выполнена на двух языках. Ни единой помарки, исправления, ни одной косой линии в чертежах – вот она, немецкая аккуратность.

Вторая папка называлась: «Новая космогоническая теория». Карл Леонович, понимая моё замешательство, сказал:

– Вы, Коленька, наверное, думаете, что мои измышления сложны для понимания, но я смогу объяснить главную идею, как говорится, на пальцах. Вот смотрите, – он отодвинул чашки, достал лист бумаги, нашёл огрызок карандаша, и стал рисовать Солнечную систему. Но спросил неожиданно:

– Вы упомянули отца. Значит, у вас есть родители?

– Конечно, отец и мать.

– Замечательно! Просто замечательно! И во всем мире так – у любого материального тела также есть родители! У молекулы, амёбы, червячка, птицы и зверя есть нечто, что их порождает. И даже у камня есть скала-прародитель, от которой он когда-то откололся для долгой

самостоятельной жизни. И скала возникла не сразу. И планеты, в том числе и наша замечательная матушка Земля, тоже когда-то появились на свет. Конечно, Земля сначала была не такой зелёной и цветущей, но ведь и ребёнок выходит из чрева матери кровавым и мокрым, и только спустя время у него отрастают волосы, появляются зубы, он начинает развиваться.

– Так кто же – родитель планеты? – спросил я.

– Вот! Умница! Это и есть вопрос всех вопросов для нас, её жителей! – мой собеседник волновался, и я понимал, что он говорил на самую важную для него тему. Даже бакенбарды нервно дрожали, когда он шевелил губами. – Но начну с другого, чтобы вы поняли суть! Основа мироздания – непрерывность движения, изменчивость, взаимосвязь внешних и внутренних процессов, цикличность, чередование спокойного периода и резких перемен, взрывов, после которых происходит переход в новое качество. Иными словами, в космосе нет пределов, нет пауз, нет смерти и нет одиночества! Я провёл много-много ночей, раздумывая над этим, и однажды, в полной тишине, мне стало совершенно ясно – планеты рождаются звёздами! Да, да! Появление планет находится в связи с циклическим характером ядерного синтеза в недрах звёзд, они формируются в недрах так же, как дети в лоне матери, и затем отторгаются! Каждая планета уходит на свою орбиту, но не отрывается от матери, а зависима от неё, питается её солнечным молоком!

– Не пойму, как же всё-таки происходят эти... роды? – удивился я.

– Эти роды – энергетическая перестройка звезды, и сам процесс, безусловно, связан с выбросом большого количества энергии. Речь идёт о накоплении энергии и мощном взрыве! Ещё Декарт говорил, что природа тел космоса гораздо легче познаётся, когда мы видим постоянное развитие, чем когда рассматриваем их, как нечто вполне образовавшееся. Но вы знаете, до сих пор! – он поднял палец, пробежался глазами по завалам книг, – до сих пор ни в одной гипотезе процесс формирования Солнечной системы не взят в развитии от атома до возникновения планет! Вот смотрите!

Он подошёл к окошку и открыл его. В комнате посвежело, и мне стало легче: казалось, что Карл Леонович до предела накалил воздух, наполнил комнату такой энергией, будто бы здесь взорвалась и обожгла все углы роженица-звезда:

– Весна – она ли не воспета в стихах, не её ли мы хотим сделать вечной? – говорил старик. – Все народы, все эпохи поют о весне! А почему? Да потому что она – символ жизни, её пробуждения, рождения всего! Казалось бы, холодная, укрытая снегами почва – мертва и некрасива, но придёт срок, и она освободится от оков, и мы поймём, какая сила в ней скрыта! Пробьются первые травинки, набухнут почки, а затем весь мир наполнится запахами, движением! И всё вокруг поёт: слава жизни! Так вот!

Он склонился надо мной:

– Так вот, Коленька. И на Солнце бывает Весна! – он помолчал. – Да, Весна!

Мы помолчали.

– На Солнце время Весны становится главной эпохой, и длится не три месяца, как принято мерить в наших земных широтах, а миллионы лет! Женщина вынашивает ребенка девять месяцев, самка слона – два года, а Солнце – громадное время! С приходом галактической весны в каждой звезде просыпается Великая Мать, и постепенно она вынашивает малышей, отдаёт всю себя им... И потом, я уже сказал, до самых последних дней она заботится о них, живёт только ими и ради них, отдавая всё своё тепло. И Солнце понимает, что если оно умрёт – не станет и её детей.

– Вряд ли ваши взгляды признают научными, ведь ни один учёный не согласится с тем, что у Солнца есть... некая осознанность действий. Если я правильно понял, то Солнце – живое существо?

– Нет, звезда не выступает живым существом в привычном понимании, она не похожа на людей, ведь мы отождествляем жизнь лишь с биомассой Земли. Слово «космос» – не пустой

звук, я нашёл, что в одном из вариантов перевода с греческого оно означает «порядок». Мироздание устроено сверхлогично – я имею ввиду, выше логики человеческой. В силу физической ограниченности у нас мало ресурсов, чтобы осознать до конца организованность этой структуры. Я и сам ухватил травинку с огромного поля познания космоса, осознав, что роды у живых существ и роды звезды по своей сути идентичны, что космос так же цикличен, как, например, наши времена года. Но мои познания – это прозрение кузнечика, который сумел запрыгнуть на ветку и увидеть чуть дальше своих собратьев. Но не это главное, совсем не это!

Я не смел даже дышать – так был взволнован мой собеседник:

– Нет смерти! Сверхлогика космоса доказывает это. Ничто не рождается из пустоты, и значит, ничто в неё никогда не уходит. Опять же возьмём пример со скалой, от которой откололся камень. Он – уже не часть чего-то большого, только кусочек, но по своей структуре совершенно похожий на мать. Но у него новое качество! Древний человек поднимает этот камень и с его помощью убивает мамонта! Разве он мог бы убить зверя с помощью скалы? Нет, хотя опять повторю, что по строению скала и камень суть одно. Дерево сгорает, превращаясь в пепел, но оно обжигает горшок, придавая ему новые качества, и само становится частью этого сосуда. Всё в мире перетекает, и ничто не теряется. Да, это не моё открытие, скорее всего. Но важно другое!

В комнате повисла пауза.

– Я прочёл много-много научных трудов. Но ни один из них не смог опровергнуть бытие Бога.

Я съёжился и вдруг понял, почему Карлу Леоновичу был неприятен мой рассказ про комсомольскую «Красную пасху».

– Не существует никакой пустоты, этот термин придумал человек по причине своей понятийной беспомощности и узости. Ему нужно было дать название тому, что он не понимает, он испугался неизведанного, – продолжал старик. – Каждое движение в мире подчинено закону. Этот закон и есть Бог. Недаром в церкви столетия изучали «Закон Божий», а в Библии написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было – Бог!» В основе мира лежат правила, которые им управляют.

– Вы знаете, но с такой теорией у вас мало шансов получить сочувствие у советских людей!

– Я не ищу сочувствия. Я ищу истину.

– Спасибо вам! – сказал я.

– За что?

– Вы открылись мне, малознакомому человеку. Потому что, видимо, поверили мне. Хотя делать этого и не стоило. Я же комсомолец.

Он не ответил. Я добавил:

– Но, Карл Леонович, ваше доверие стоит очень дорого! Что-то я понял, что-то нет из вашей теории, но судя по записям, формулам, таблицам, вы ведь не только мечтатель, но и учёный.

– Все мои записи основаны на научных знаниях, и они доказывают бытие Бога и торжество жизни, – ответил он.

Я подошёл, чтобы пожать руку, и только встав лицом к лицу, я заметил, как в полумраке блеснули слёзы на его щеках. Не знаю, почему я так поступил, но в тот же миг обнял Карла Леоновича, такого незнакомого, но уже дорогого мне человека, и он похлопал меня по плечу.

– На самом деле я ничего не могу, совсем ничего, живу, будто и правда выброшен в космос, – он помолчал. – Большинство книг, собранных здесь – самая настоящая макулатура. Целыми днями я охочусь за знаниями, но чаще мне попадается ерунда, разная идеологическая, – он запнулся, чтобы не сказать лишнего. – Идеологическая литература попадает, в общем. А мне нужны знания, чтобы вести математические, астрономические расчёты, которые

могли бы подтвердить мою теорию взаимосвязи атома и планетообразования. И я очень хочу знать, чего достигли учёные там.

– Где... там? – удивился я.

– Там, на дальней планете, в другой жизни.

– Не понял?

– В капстранах, Коленька.

Я поёжился и стал прощаться. Уходя, сказал Карлу Леоновичу, что буду навещать его, и, наверное, лучше было бы, если эти слова стали формальностью и я больше никогда не входил в эту каморку.

В тот вечер я пришёл домой поздно. Мать удивилась, пыталась поговорить со мной. Она, наверное, решила, что у меня появилась, наконец-то, подруга. Но я её разочаровал, сказав правду.

– Молодец, что помог пожилому человеку, – ответила она. – Только в другой раз предупреждай меня, когда решишь где-либо засидеться так долго. Я же волновалась!

И, когда она ушла, я вспомнил, что библиотечные журналы остались там, у Карла Леоновича. Так что следующим вечером я не просто вышел покурить, а шёл и дымил прямо по курсу на дом по улице Чернышевского. Его жильцы поначалу удивлялись мне, бросали фразы и скабрзные шутки, но потом привыкли и я стал частью этого балагана. Удивительно, но я, юнец, крепко сдружился с человеком, который был намного старше меня! В то время я даже перестал читать, хотя раньше находил в этом главную отраду – мне стали не нужны книги, потому что каждый вечер пожилой немец рассказывал мне много нового. Часто он слушал меня, про работу, комсомол, повторяя:

– В вашем лице, Коленька, я общаюсь со всей молодёжью и хочу понять будущее, предположить, каким оно будет.

Я искренне отвечал, что по мне не стоит судить о всех, что я замкнутый малообщительный человек, хотя и живу в самом пекле общественной жизни. И при этом, разговаривая с пожилым немцем, я с каждым днём всё больше и больше разочаровывался в том, что наблюдал вокруг, мне не хотелось писать, рапортовать, обличать пороки, призывать на сбор металлолома и заниматься прочей мелочью.

Всё чаще на меня стал обращать внимание редактор, мне даже дали большой летний отпуск, полагая, что слабость моих корреспонденций вызвана усталостью. Эти свободные дни я проводил в компании Карла Леоновича. Мы бродили по городу – он знал многих книгочеев, работников книжных магазинов, и я углублялся в его особенный мир. Часто я помогал ему купить ту или иную книгу, он краснел, благодарил, клялся отдать деньги как можно скорее, но я знал, что это невозможно. Я не понимал вообще, на какие средства он жил – единственное, я иногда заставлял его за сбором стеклотары, иногда он помогал чинить что-то жильцам дома. Самые тёплые отношения у него были с соседкой – тётей Надей, добродушной женщиной его возраста, и он называл её только Наденькой, просил чайник или что-то ещё, пока мы с ним сидели вечерами в его каморке.

Затем я соврал матери, сказав, что у меня появилась девушка – в шутку я назвал свою несуществующую подругу Наденькой. Эта выдумка нужна была, чтобы мама не волновалась и знала, где и с кем я задерживаюсь летними вечерами. На самом же деле с наступлением темноты мы сидели с моим старшим другом, пили чай с калиной и смотрели на звёзды в его подзорную трубу.

И тогда я совершил первую в череде ошибок. Не посоветовавшись с Карлом Леоновичем, решил написать небольшой очерк – о нём и его идеях. Мне представилось, что однажды постучу в его комнату и неожиданно положу на столик пахнущую типографской краской газету, и скажу, что теперь он знаменит, по меньшей мере, в нашем городе. Это будет здорово! Я писал несколько дней, причём ни до, ни после не испытывал такого эмоционального подъёма

в работе. Строчки сами выливались, и я шумно отстукивал на портативной машинке очерк с громким названием «Воронежский Коперник».

Помню утро, когда сдал материал начальнику отдела, и уже через час меня пригласил... сам главный редактор. Я подумал: ну вот, наконец-то я «выстрелил»! Теперь мне скажут, молодец, сработал с огоньком, принёс что-то новое, по-настоящему свежее. Однако Гейко встретил меня недружелюбно, и по пунцовому лицу я понимал, что эффект мой «Коперник» произвёл обратный.

– Скажи-ка, Звягинцев, – главный обратился по фамилии, и это не сулило ничего хорошего. – Это ведь выдумка твоя, да? Такого же... забавного дядюшки немца нет в нашем городе, ты его сочинил?

– Все нет! – протестовал я. – Он живет на Чернышевского, дом номер... – сказал я, и с удивлением заметил, что Степан Степанович записывает за мной.

– А раз есть, то это хуже. Плохо, Звягинцев, очень плохо, – он резко опустил стальное перо в чернильную установку.

Я молчал.

– Значит, этот твой Карл Эрдман учит тому, что ничто не умирает, а переходит в новую стадию?

– Совершенно верно.

– Что значит, чёрт возьми, верно!

Я вскочил при его выкрике.

– Ты, Звягинцев, больше других сотрудников газеты посещал лектории и кружки, и что ты там, спрашивается, делал? Мух ловил? Ты что, Канта ночью под кроватью начитался?! А сам-то, сам! Критику, понимаешь, наводил на комсомольцев, многие на тебя обиделись за горькую, но правду, а ты, – я смотрел на его разъярённое лицо, и хотел сказать: «Но ведь это же вы меня посылали, направляли, давали тему и говорили, как писать», но не смел и открыть рта. – Какое ещё бессмертие, комсомолец Звягинцев? Хотя какой ты, прости, комсомолец, когда знать не знаешь, что бессмертие – это миф, буржуазная ненаучная метафизика! И это только касаясь одного аспекта, а всё остальное и того хуже в твоём, с позволения сказать, опусе, – он тряс в воздухе рукописью. Скрепка сорвалась и звякнула о пол. – Всё в ней отдаёт какими-то забугорными антикоммунистическими идейками! Откуда он взялся вообще тут, это твой Эрдман, а? Кто он такой? С этим надо будет ещё разобраться! Сумасшедший псевдофилософ, или до времени скрытый враг? Хотя какой скрытый – вот тебя уже, вижу, завербовал!

– Да вы что?

– Молчать! – я снова вытянулся. – Хорошо, что твой непосредственный начальник Павел Семёнович эту твою писанину из отдела сразу мне на стол принёс, хотя хотел идти в райком комсомола! Я отговорил! Пока никто больше, ох, никто этого не видел! Всё тобой написанное – издательский поклёп на науку, каждое утверждение в корне противоречит марксизму-ленинизму! Не существует, и заруби себе на носу это, бессмертных звёзд, планет, существ, и нет никаких бессмертных душ. И боги, хоть греческие, хоть христианские – всего лишь пустые выдумки тёмных людей. И запомни: с мифами не бывает научных параллелей! С этим давно покончено! Зачем приносить со свалки истории подобное мракобесие?

Гейко долго молчал, расхаживая по кабинету. Временами кто-то робко постукивал по обивке двери и едва заглядывал, но редактор умел одним взглядом показать, чтобы от его кабинета отбежали, как от клетки с тигром. Раздавались и звонки, и я знал, как Степан Степанович относится к ним, но сейчас он не снимал трубку, и однообразное дребезжание телефона било сотней молоточков по ушам.

– Ладно, – вдруг он немного изменился, щёки едва побелели, и я выдохнул. – Я понимаю твой интерес к космосу, к устройству звёзд. В этом нет ничего плохого. Так есть же замечательные учёные, которые занимаются этими вопросами! Учёные, Николай, а не шарлатаны-прохо-

димцы. Настоящие светочи науки по каморкам не сидят, в нашей стране нет, и не может быть такого, мы не на Западе живём, вот там-то, у капиталистов, как раз всё наоборот! А наши учёные работают в лабораториях, у них есть самые современные приборы для изучения звёздного неба. В общем, раз тебе интересно, я попробую переговорить с научно-исследовательскими институтами, будешь освещать их идеи и разработки.

– Но...

– Что?

– Все идеи, мысли Эрдмана основаны на диалектике, в этом они нисколько не противоречат марксистско-ленини...

– Звягинцев! – я снова подпрыгнул. – Ты что-то недопонял?

Гейко подошёл вплотную, его лицо опять дышало, как жаровня. Казалось, что вот-вот займутся пламенем мои волосы и брови:

– Я давно и внимательно слежу за тобой, и одного не могу понять. Чего тебе не хватает? У тебя есть всё! Твой отец – уважаемый, талантливый человек, передовик, рационализатор, его имя как светоча радиотехники останется и в будущем! Но ты-то что? Почему занимаешься ерундой, вместо того, чтобы развиваться? Да если уж на то пошло, скажу как есть! Как старший товарищ скажу, хочешь, обижайся: я держу тебя в штате только из-за твоего отца, из уважения к нему! Иначе! – Степан Степанович отвернулся. – В общем, чтобы я читал подобные опусы в последний раз! Ты взрослый человек, и должен понимать, с кем можно, а с кем не стоит общаться, я тебе не родитель, чтобы объяснять подобное, и отвечать за тебя не собираюсь, – он повернулся ко мне вновь. – Не собираюсь! Поэтому в твоих интересах прекратить, я настаиваю, прекратить любые взаимоотношения с неким элементом, который называет себя Карлом Эрдманом. Лучше всего забудь это имя, вычеркни из головы всё, что он тебе рассказал и займись, наконец, делом!

Я внимательно выслушал, но тогда, в свои двадцать лет, я не знал и не мог понять главного: несмотря на высокое положение моего отца, я не имел права на роскошь не скрывать своего мнения и не учился воздерживаться от необычных суждений.

Снова настойчиво зазвонил телефон, и Гейко поднял трубку. Я, пятясь, вышел из кабинета и побежал в корреспондентскую.

Я не внял предостережениям, и в этот вечер пришёл к Карлу Леоновичу. При этом не забыл о просьбе, и принёс портативную пишущую машинку «Москва». Он попросил перевести самые важные рукописи в машинописный текст, и я не отказал. Со временем мы перешли на «ты», и он, несмотря на разницу в возрасте, требовал от меня тоже обращаться к нему, как к равному:

– С тобой всё в порядке, Коленька? – не раз спросил меня он за тот вечер, видя, как дрожат руки и горят щёки, но я старался улыбаться и шутить. Мне было стыдно, я понимал грубость своей мальчишеской ошибки, и если бы честно рассказал про очерк, то вряд ли бы вызвал сочувствие. По сути, я подставил его.

– Отдохнул, можем продолжать? – говорил Карл Леонович, и продолжал диктовать. Прошло столько лет, а я и сейчас помню текст, слышу его размеренные фразы.

– Итак, тезисы главы таковы. Судьба атома и судьба звезды тесно связаны. Внутри звёзд происходят процессы циклического характера. Прерывистому режиму атомообразования в звезде обязаны планеты своей жизнью. Вспышка звезды – это рождение новых космических тел. Эта закономерность объясняет возникновение нашей планеты Земля, описывает эволюцию Солнечной системы как гетерогенной и разновозрастной системы звёзд, аналогов которой на звёздном небе можно найти неисчислимо множество. Готово, успел? – он с восторгом, подолгу смотрел на печатный вариант своих работ. – Очень хорошо! В следующей главе мы дадим ответ, по каким законам развивается материя космоса, в том числе атомы химических элементов и построенные из них небесные тела.

Я многого не понимал, но старался запомнить. Карл Эрдман одновременно диктовал две работы, и складывал их в отдельные стопки. В одной монографии были сосредоточены сложные для меня термины и понятия, она была суха и казалась весьма основательной, в другой же он позволял себе размышления и гипотезы:

– В мифологическом наследии разных народов можно найти три основные стадии космогенеза, – Карл Леонович даже не начитывал прежние, готовые рукописи, а, находясь в творческом подъёме, диктовал из головы и сразу начисто. – Например, три шага делает индийский бог Вишну. У древних славян это шаги Вышеня через Навь – мир невидимый, духовный, Явь – мир проявленный, зримый, Правь – закон, объединяющий миры Нави и Яви. В греческой интерпретации имеются три этапа Творения: Хаос – отсутствие форм, Хтонос – формирование плотных тел, Космос – порядок. Записал? И в Библии мы находим...

Каждый вечер я помогал печатать рукописи, и постепенно разговор с гневным редактором забылся. Пришла осень, после первых морозов мы поехали воскресным утром с Карлом Леоновичем за город собрать тронутые зазимком, а значит, утратившие горечь ягоды калины. Он радовался богатому урожаю и тому, что у него есть я – преданный юный друг, готовый помочь донести корзины с этими алыми, собранными в крупные грозди ягодами.

– Ах, удивительная, просто удивительная штука эта калина! – повторял он. – Даже не нужно погреба, чтобы хранить её. Сушится прекрасно, да и в свежем виде лежит долго. А всё благодаря её чудесному составу.

– Калинка-малинка моя! В саду ягода калинка! – с задором пел я, и немец подхватывал русскую песню, и мы, два чудака, шли и приплясывали по звенящему чистотой, осыпанному, как мукой, первым инеем предзимнему лесу. Я знал только сам напев, и был удивлён, что немец хорошо знаком с русскими народными песнями, и слова, несмотря на простой задорный мотив, показались мне вовсе невесёлыми. Он пел:

*Ах! Под сосною под зелёною
Спать положите вы меня.
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,
Спать положите вы меня...*

Снег выпал в начале декабря, и я по белым дорожкам шёл вечером к Эрдману в каморку. Кстати, к тому времени я по его наставлению бросил курить, и причиной прогулок стал только визит к одинокому учёному.

Застал я его за необычной работой: он пододвинул стол ближе к окну, нацепил на орлиный нос толстые очки и что-то паял. В комнате было дымно, пахло канифолью.

– Коленька, как хорошо, что ты пришёл! Сейчас немножко поможешь, если тебе нетрудно. Скоро, я уверен, нас ждёт настоящее событие.

– Что это у тебя такое?

– Это клеммы, катушка самоиндукции, детектор, – улыбнулся он. Эрдман подстригся, привёл в порядок бакенбарды и выглядел торжественно. – Будем собирать с тобой приёмник, чтобы узнать, что происходит в мире науки!

– Карл Леонович, ну что ты в самом деле! – я похлопал его по плечу. – Собери-ка это всё, да и отнеси в мусор!

– Что?! – он вскочил, как лев. – Знаешь, чего мне стоило купить это? Не хочешь помогать, иди домой, мальчик! Или ты испугался слушать иностранные волны?

– Я не это имел в виду, совсем не это! – моя широкая улыбка, кажется, сильно его раздражала, но я специально тянул. – Видно, маловато приходилось нам говорить про моих родителей, а ведь мой отец работает на «Электросигнале», и приёмников – портативных, батарейных и от сети, у меня целых пять. Правда, они меня как-то совсем не интересовали.

– Да ты что! – он взял меня за плечи и выпучил глаза, словно рак. – И ты молчал! Ладно, ладно, Коленька! – он похлопал меня по щеке. – Только не говори мне, что у тебя есть красавец,

радиоприемник «9Н-19». О нём еще в газете писали! – и он развернул «Коммуну», где была большая фотография и текст о новом аппарате предприятия.

– Добудем всё, что надо, без всяких проблем! – уверил я. Немец действительно сгрёб в кучу свои детали, как что-то совершенно ненужное, и весь вечер был на каком-то особом подъёме. Правда, достать новую модель я смог не сразу. Отец как-то холодно отнёсся к моей просьбе, даже огрызнулся, мол, что завод – не его собственность, нести с него он права не имеет, а покупать нет нужды – в доме и так есть образцы прежних аппаратов, которые вполне себе ловят и местное, и центральное радио. Добыть приёмник я смог через подчинённого отца, дядю Вову, и, не зная о моём разговоре с родителем, он не отказал в просьбе и выписал мне новый аппарат на комсомольскую организацию газеты.

– А помнишь, в первый день нашей встречи ты сказал, Коленька, что в школе тебе языки хорошо давались? – спросил Эрдман, когда мы сидели с ним за столом и крутили настройку у нового, блестящего хромом, пахнущего лаком радиоприемника.

– Да, немецкий базовый, а ещё английский и французский. Мама настаивала, чтобы я занимался больше языками.

– Молодец твоя мама. Немецкий то я знаю, как говорится, как родной! – он засмеялся. – Так что Германию беру на себя, а вот буржуев ты станешь переводить.

Три рукописи уже были отпечатаны, подзорную трубу мы забросили, и почти каждый день проводили у радиоприёмника. На столе появились словари иностранных слов, я без спроса взял у отца особенно редкие – для перевода технических терминов. Мы обсуждали, узнавая много нового о том, что происходило тогда в мире. С особым вниманием слушали о том, что пенициллин впервые в США применили для лечения людей, о создании калькулятора для сложных задач на основе реле. Карла Леоновича затрясло, когда он услышал новейшее доказательство, что ионы исходят в частотах, затронутых их движением.

Больше же всего по радио говорили не о науке, а о войне, которая шла уже второй год, но изредка попадались сообщения об очередном открытии, присуждении Нобелевских и других премий, и тогда мы внимательно конспектировали передачи. Так шло время, приближалась весна сорок первого года...

Однажды я пришёл к Эрдману и застал его в задумчивости. Он сидел, оперев голову на руку, и впервые мне не удалось получить от него ответа. По обрывочным фразам, мычанию и небывалому волнению понял, что Карл Леонович прослушал какую-то особенную передачу.

– Это невыносимо, ужасно, ужасно. Я и не мог знать, что моя историческая родина дошла до такого кощунства. Как это остановить? Что же дальше? Нет, миру именно сейчас нужны мои знания! – прошептал он. – Они помогут осознать происходящее и даже – прекратить эту ужасную войну. Коленька, скоро начнётся самая настоящая бойня, я чувствую это! Погибнут многие невинные люди, но это можно ещё предотвратить, я уверен! Если мир узнает о реальном устройстве космоса, о его законах, то все побросают оружие, покаются и начнут не рушить, а созидать! Нельзя оставаться равнодушным к этому, нельзя...

Карл Леонович повторял и повторял последнюю фразу, а в радиоприёмнике о чём-то гавкал нацистский лидер...

Глава 7

Строки таяли перед глазами, превращаясь в размытые витиеватые змейки. Читать неровно написанную рукопись, пусть и такую занимательную, было нелегко, и я отложил тетрадь, потёр глаза. За вечер мне не удалось осилить и четверти записей. Я поднялся и размял ноги, думая: кто же всё-таки автор этих заметок? Инфантильный баловень, рафинированный городской мальчик? Тихий, заключенный в скорлупу мечтатель? А может, самый настоящий мудрец, философ, который понял, что нужно искать и постигать глубокие смыслы, найти для себя высокие цели, а время, эпоха, окружение – всего лишь случайные декорации? Как рассказчик Звягинцев заслуживает хорошей оценки – он доносит мысли просто, без пафоса и мудрствований. Читая, так и представлялись образы красномордого апологета советской печати Гейко, странноватого немца с его фантастическими гипотезами, скорее всего, лишенными научной базы, представляется утончённая, ухоженная, но холодная и отстранённая мать, желчный, суровый отец... А ведь в редакции газеты его ругали, но мне, человеку из будущего, очевидно – Звягинцев-то как раз умел писать! Я никогда раньше не слышал имени Станислава Гейко, хотя и писал курсовые работы по истории журналистики. Этот «великий» мастер оказался выброшенным в утиль. Хотя, может быть, автор воспоминаний поменял фамилии, и даже в личных записях избегает называть реальных людей? Но даже если редактора звали иначе, время всё равно утопило память о нём в своих глубоких песках.

Ночью город словно и не спешил засыпать. Стучала, постепенно удаляясь, очередная электричка, где-то в соседних домиках слышались негромкие разговоры, далеко, в летнем кафе выбивали однообразный ритм колонки... Я вновь сел на крыльце, закрыл глаза, вытянув ноги, стараясь различить в этом разнообразии звуков самую лучшую, но приглушаемую музыку – стрекотание сверчков. Минуты текли, я дышал глубоко, сам не понимая, почему улыбаюсь. Становилось легко, спокойно, а потом меня словно подхватили мягкие руки и подняли в небо. Я стал птицей, взлетел над предрассветным спящим городом. Я парил, то опускаясь, то вновь набирая высоту, едва угадывая ландшафты, картины, понимая, что лечу над иным, незнакомым мне Воронежем. Не стало однообразных, как столбы, высотных домов, супермаркетов, заполненных машинами-букашками автостоянок. Пропал искусственный блеск и мельтешение огней, растворились кричащие рекламные вывески. Я с трудом узнавал места – Воронеж ужасно, обустроенные пригороды превратились в пустыри и редкие деревеньки, сосновые лесочки, и мой орлиный взор различал далёкие низенькие лачужки, стога сена, вытянутые прямоугольники коровников. Город же подо мной казался серым в дымке, его разделяла неширокая, бегущая неровно, словно змейка, река. Местами по бокам её сжимали пристани с рядами деревянных лодок. Я опустился к воде, к белоснежному юркому паруснику, но ветер отбросил меня к левому берегу. Тут были редкие домики барачного типа, в небольших двориках сушилось на верёвках бельё. Но, поднимаясь выше, я различал стройки, длинные, как шрамы, траншеи, полные кирпича грузовики, глинистые котлованы, насыпи идеально жёлтого песка, горы чёрного шлака. В нос ударил запах гудрона, несмотря на ранний час, уже слышались окрики, шум моторов. Я парю, лечу в иную сторону, кружусь над парком, вижу фигурки спортсменов, лестницу, памятник Сталину – вождь прижимает руку к груди, словно защищает сердце. Перед железными воротами вывеска – «Спасибо любимому Сталину за счастливое детство!» Я лечу всё быстрее, поднимаюсь – с высоты кажется, что правый берег весь утопает в зелени, по железным путям в Берёзовой роще движется, то появляясь, то скрываясь от глаз первый утренний трамвай. Я петляю, пересекаю улицы, вижу шпалы, рядом с которыми – насыпи разномастных камней. Постепенно разгорается день, проносятся глазастые полуторки с деревянными бортами, редкие, похожие на красно-белые огородные бочки автобусы, мелькают люди. Большинство зданий я вижу впервые, рядом со многими хочется замереть, покружиться, рассмотреть

колонны, лепнину. Я наконец понимаю, что лечу над довоенным Воронежем, его трудно узнать и уже никогда не вернуть: почти весь город уничтожат немцы, не уцелеет и десятой части всех этих строений. Меня относит к Чернавскому мосту – я угадываю его лишь потому, что он – средний, но совершенно не похож на современный. Затем опускаюсь к деревьям какого-то сквера, сначала не узнаю его, но мои крылья выносят к Ротонде – не к её руинам, я вижу её совершенно целой, нетронутой войной. Она примыкает к стене вытянутого четырехэтажного здания клинической больницы. Поднимаюсь вверх, словно ракета, лечу на космической скорости к солнцу, и оно зовёт, зовёт, но невыносимо слепит...

Я открыл глаза – торшер светил мне прямо в лицо. Тетрадь лежала на груди, я так и уснул с ней. Стало холодно, и я, выключив свет, покачиваясь, побрёл на второй этаж. Думал, что сразу же забудусь, лишь коснусь подушки, но короткая дрёма перебила сон. Мысли, как надоедливые насекомые, обступили меня: стоит ли выплыть рано утром на рыбалку, или выспаться? А не направлял ли меня завтра редактор куда-то? Какой объём текста должен быть про обманутых дольщиков? Что насчёт фото? А не сварить ли кофе покрепче прямо сейчас? А может, отцу позвонить утром и ему дачу показать? Перед глазами вновь проплывали события минувшего дня, я словно слышал чьи-то голоса, видел себя со стороны, вчерашний митинг возле памятника Никитину, крики, лозунги. «Кто крышует застройщиков-мошенников?» «Власть! Прекрати произвол над народом!», «Достройте наш дом!»

Мужчины стояли тихо, потупив взоры, женщины давали волю эмоциям. Многие пришли на демонстрацию с грудными детьми, чтобы наглядно показать, кого лишил обещанного крова воруага-застройщик. Вырывая друг у друга громкоговоритель, ораторы-политики, не пострадавшие от махинаций, но готовые показать себя как защитники обманутых, заявляли о вине «партии власти» и чиновников во всех бедах, в том числе и этой. Без эмоций на них смотрели телеоператоры и полицейские. Шум нарастал, хотелось заткнуть уши, но внезапно ударил марш, и от проспекта Революции в сторону дольщиков двинулось шествие – пионеры, комсомольцы в белом вышагивали босиком, украшенный цветами и портретом Ленина грузовик ревел неисправным двигателем. За ними шли старики в странных синих блузках, выкрикивая что-то непонятное огромными лошадиными ртами. Они поднимали к небу кумачовые транспаранты «Сталин – великий знаменосец мира!» «Придём к изобилию!» «Будет и на нашей улице праздник!» «Религиозное воспитание – преступление против детей!» Могучий бюст Ленина вырос на фоне вывески «Жар-птица», словно Вождь вернулся из прошлого и протаранил мощным лбом новое время, сорвал буржуйскую мишуру и цветные фантики. Я отбежал на левую сторону улицы и замер, спрятавшись в тени лип. Огляделся – рядом не было никого, кто наблюдал бы со стороны эту странную картину, лишь только блестящий, как серебро, Белый Бим с начищенным носом смотрел безучастно пустыми глазницами, как одна демонстрация безжалостно таранит, подминает другую. Я подумал, что если бы он был не памятником, а живой собакой, то наверняка заскулил и спрятался от этого ужаса за фонтанами.

Пионеры били в барабаны, несли на руках, словно иконы, большие радиоприёмники, глобусы, шипящие маслом сковородки, ламповые телевизоры, подшивки газет. За ними широкоплечие ребята в красных колпаках тащили на плечах гигантский телескоп, чучело священника, потёртую, с множеством сколов гипсовую статую Христа. Я ужаснулся – следом шёл отряд рабочих в кирзовых сапогах. Крепко сжав под мышками, они несли какое-то аморфное, копошащееся, похожее на гигантскую пчелиную матку тело, а за ними, завершая шествие, тянули на телеге распятую фигуру. Скрип колёс заглушал звуки марша, и когда страшная повозка поравнялась со мной, я различил лицо мученика – он повёл орлиным носом, поднял кустистые брови, и я увидел рваные бакенбарды. Из рук и ног вытекала черная кровь, я пригляделся – человека прибили к кресту моими шампурками. Он с трудом шевелил пересохшими губами, водил мутными глазами по искрящейся толпе, пока наконец не заметил меня, спрятавшегося в тени деревьев:

– Пока мы не научились любить и жить по законам космоса, людей будут сжигать на кострах, – едва сумел сказать он, затем поднял глаза и улыбнулся. – А на солнышке сейчас Весна! Солнце правильно называть не «оно», а только «она». Солнце – мать. Вот погуляет этой весной, глядишь, родит ещё одну планетку, где жизнь пойдёт совсем иначе. Всё-таки поздние дети – самые талантливые.

Из-за телеги выбежал толстяк с красным лицом, ругаясь, выхватил швабру и заткнул страдальцу рот половой тряпкой. Я с криком бросился, но меня обхватили тысячи рук, вопили сотни разверзнутых, как ямы, ртов, кричали на меня. Кто-то приставил к моему уху шипящий приёмник, иные тыкали палками и кричали: «Нет мракобесию!» Я очнулся, почувствовал хомут на шее: меня запрягли в телегу, и толстяк бил меня по бокам шваброй, заставляя тянуть распятого страдальца...

Я вскочил, с трудом угадывая, где нахожусь.

– Что за чертовщина? – сказал я, чувствуя, как ноет голова и пересохло в горле.

Отдышавшись, протёр глаза – солнце уже поднялось, заглядывает сквозь тонкую паутину в невымытое дачное окошко, освещает дальний угол. Да, читать много на ночь, да ещё пить всякую пакетную бурду, по недоразумению именуемую вином, очень вредно. Едва не упав с крутой винтовой лестницы, я вышел на свежий воздух и потянулся. Раннюю зорьку я проспал, но всё же выплыть на рыбалку захотелось.

Лодка моего дяди – широкая, рассчитанная человек на шесть, стала моим единственным наследием (она оказалась никому не нужна), и я, умывшись и напившись из рукомойника, быстро собрал немудрёные снасти, вёдра, прикормку с наживками. Положив всё это у кормы, снял цепь и поднажал на вёсла. Отплыв настолько, что домики показались вдали небольшими коробками, я вдруг замер – а может, стоило взять с собой тетрадь? Да ну её, и так от неё одни кошмары снятся, подумал и махнул рукой. Или всё же? Я резко зачерпнул веслом, и снова направил лодку к берегу.

Тетрадь валялась рядом с пыльным коврикком на крыльчке. Эх, многострадальная ты моя, подумал я, и лежала ты долго без цели на полке, и на пол падала, и чуть в мангал не отправилась! Давай теперь ещё и поплаваем, искупаемся на стрости лет. Да, удивился сам себе – начинаю разговаривать с тетрадью, всё-таки мне вредно оставаться в одиночестве.

Я положил тетрадь на соседнее место в лодке, и она плыла со мной, словно компаньон по рыбалке. Я выгреб к мосту – здесь проходили электрички, и, хотя заплывать далеко не хотелось, мне уже порядком надоел их шум, и я поплыл дальше, в сторону острова Рыбачьего. Утро разгоралось, было уже около десяти. Всё же для того, чтобы отдохнуть спокойно на городском водохранилище в выходной день – надо постараться, найти тихое место. Постоянно то по одной, то по другой от борта стороне мимо меня проносились водные мотоциклы, поднимая тёмно-зеленую тучу водорослей, плавали шумные, звенящие хитами сезона катера, так что я в своей лодке казался архаичным стариком из повести Хемингуэя.

И всё же удачное место я наконец нашёл. Прикормил, забросил удочку и стал ждать. Припекало, и я вспомнил излюбленный метод охладиться дяди Гены – снял кепку, и, набрав её полную воды, надел на голову. Что ж, совсем хорошо, но сколько ждать клёва? Ладно, подумал я, всё равно лучшее время я проспал, так что просто посижу, буду болтаться тихонько на воде, а заодно и почитаю...

Глава 8

Знаешь, Мишенька...если оглянуться, оценить жизнь, задуматься, окажется, что память наша цепляется лишь за отдельные фрагменты, и, чаще всего, почему-то хранит не самые радостные страницы прошлого. Наша память – это и есть мы сами: если лишит нас воспоминаний, не станет и личности. Память устроена странно – она, словно фотокамера, в мельчайших деталях запечатлеет один день или даже час жизни, при этом может оставить вне своих рамок месяцы или даже годы. И я, скорее всего, не запомнил бы так юность в красках, если бы не крутые перемены.

Впрочем, перемены – самое неподходящее из всех возможных определений...

Весна сорок первого года, конец апреля. Наша редакция, комсомольские и партийные организации – все готовились к Первомаю. Я без особых причин впервые за долгое время чувствовал себя на подъёме, радовался новой весне, которая в тот год сильно запоздала и потому была особенно желанна. С мартовских оттепелей я не заглядывал к старику Эрдману, можно сказать, забыл о нём, и не испытывал угрызений совести. С того времени, как мы завершили перепечатку рукописей и особенно после того, как появился радиоприёмник, Карла Леоновича было не узнать. Более того, если раньше любой вечер он проводил дома, то теперь я всё чаще находил его дверь запертой, и никто, даже соседка тётя Надя, не могли сказать, где он бродит и когда вернётся. По её словам, иногда он пропадал сутками, и возвращался растрёпанным, со впалыми щеками и горящими нездоровым огнём глазами. В редкие дни, когда я заставал его, Карл Леонович напоминал мне загнанного зверя, молчаливого, рассеянного. В душе его будто шла война. Он уходил от любых вопросов, неудачно отшучивался или вовсе делал вид, что не слышит меня:

– Всё будет хорошо! – отделивался он от меня. – Так хорошо, что ты и сам удивишься, Коленька! Поверь мне!

Ещё я заметил, что с руки исчез дорогой перстень с камнем, пропали и часы с золотой цепочкой, на которые я обратил внимание при нашей первой встрече, посчитав, что они «фамильные». Неужели он продал их, и почему?

Я злился – всё-таки мне нужна была компания, общение, я же не мебель, не бездушная печатная машинка. Помню, если мимо его каморки проходил кто-то, Карл Леонович бросал любое дело, прикладывался ухом к двери. На любой мой возглас в такие минуты он резко шипел, поднося палец к губам. Боялся ли он, или ждал тайного гостя – ответить не могу и теперь.

И вот накануне Первого мая я все же пошёл к нему, решив – если и сегодня его не будет дома, то пусть... сам меня разыскивает, если захочет. Мы были знакомы год, но впервые я задумался, что связывает нас. Дружба? Даже если она и возможна между людьми разных возрастов, национальности, склада души и ума (а мы, как ни крути, были совершенно разными!) то и такие отношения рано или поздно заходят в тупик. Так что, если и застану Карла Леоновича, и он опять станет бубнить что-то под нос, не замечая меня, я выскажусь и уйду.

Я шёл привычным путём, сунув руки в карманы широких чёрных брюк. На мне была тюбетейка с ручной вышивкой – до войны они были очень популярны. Смотрел по сторонам, на небо, иногда опускал глаза на новые парусиновые ботинки. Станные чувства переполняли меня – было отчего-то и обидно, и радостно. Подумалось, что меня ждут перемены. На скамеечке сидели и кушали сладости две девушки, и я невольно залюбовался, как одна из них, изящно зажав большим и указательным пальчиками, медленно подносит к языку конфету. Глядя на её улыбку, ямочки на щёчках, длинные черно-угольные косы, на беретку, блузку и узкие плечики, мне захотелось забыть обо всём – в первую очередь о том, куда и к кому шёл. Захотелось присесть на лавку, познакомиться и пригласить в кино. Тем более, вчера мне как

раз бросилась в глаза какая-то афиша, кажется, фильма «Любимая девушка». Замечательное название! Раньше я бы загорелся краской от одной только мысли, что когда-нибудь вот так запросто подойду к незнакомкам, а теперь понял, что сделаю это обязательно. Подумал: если они продолжают вот так мило сидеть здесь, когда я пойду обратно от Эрдмана, то решусь на этот шаг. Мне больше понравилась чёрненькая, с косичками. Подумал: да, именно сегодня я найду себе милого человека, близкого и дорогого, и начнётся совершенно новый этап для меня.

В голове зашумело, словно ручеек бежал по камушкам, и я подумал: эта весна будет неповторима! Я поднял глаза к небу и зажмурился. Да, каким бы странным ни казался старик Эрдман и его идеи, в главном он прав – и на Солнце бывает Весна! Там её начало. Далеко-далеко, в центре нашего мироздания рождаются тепло и свет. И, спускаясь с огненной планеты, Весна единственная правит во всем мире. Она, девушка-хохотушка, солнечная дочь, купается в молодой листве, порхает в цветущих ветвях каштанов и рябин. В воздухе, в пыли и камнях, в вывесках и трамваях, в городском шуме и в моём сердце – везде, в каждой молекуле гигантского мира царит Весна! Я шёл и думал об этом, но улыбка вдруг стерлась с лица. Дом с номером семьдесят на Володарского... Лишь он выглядел массивным серым кашалотом – служителем иной, противной Солнцу силы. Серый дом напоминал холодную и чужую планету, где обитали непонятные существа, установившие свои законы. Там не было самого необходимого – воздуха и света. Сердце, сжавшись в маленький комочек, испугалось одного вида этого дома, и я побежал, стараясь не оглядываться и как можно быстрее забыть о нём. «Семидесятка» смотрела множеством огромных глаз-окон, и, казалось, ухмылялась мне в спину.

Впрочем, Весна быстро вернулась ко мне. Через несколько минут я уже был на Чернышевского. Там встретил знакомых – корреспондента Васю Пенькова с подругой. Я рассмеялся от незатейливого приветствия и пустого разговора. Они дивились моему опьянению и чудачеству. Сейчас, вспоминая всё это, видя себя сквозь годы, застывшего в том времени, словно в янтаре, я вздрагиваю... Нечаянная радость, прилив сил, надежды. Как я был похож на пышный юный цветок, что раскрыл лепестки миру перед бурей!

Я свернул во двор дома, где жил Эрдман. Поначалу не придавал значения странной тишине. В любое время года здесь обязательно доносились голоса, иногда – неумелое пение под однообразное пиликанье гармони, ругань, звон посуды, что угодно, но только не холодное молчание... Я громко насвистывал, ожидая, что кто-нибудь из острословов высунется в форточку и развеселит меня бранью. Но окна были глухи. Мой свист оборвался, словно соскочил и убежал с губ. Жильцы для чего-то повесили шторы, простыни, а у кого их не было, закрыли окна газетами. Уж не к празднику же они так готовились, вместе затеяв генеральную уборку?

Тогда я вновь поднял глаза, к солнцу, на котором сейчас была Весна... Но что-то оборвалось, ушло навечно, и я боялся увидеть небо заклеенным выгоревшими, пожелтевшими газетами.

Нет, ничего не поменялось – лучи жмурили глаза, кружились стрижи, редкие белые облачка напоминали кусочки ваты. Мне вспомнилось – сам не знаю почему именно это пришло тогда на ум, – что в минувшее воскресенье была Пасха. В сорок первом она совпала с Благовещением, говорили, что так бывает крайне редко, и старухи судачили, что это – символ беды и двойных испытаний. В эти дни немцы напали на Югославию, и в мире ужесточается война. Но то было в мире, где-то далеко, а на наших границах всё спокойно, я верил в это! И весна, такая радостная весна! Какая война, какие бури? Всё безоблачно и мирно. Я, хоть и был воспитан как безбожник, знал, что вся неделя после Пасхи называется святой. Наверное, так оно и есть – святая неделя, и мир полон света, тепла, радости. Будто об этом мне и пели птицы, пытаюсь вернуть мне радость, но я опустил голову, возвращаясь душой в притихший, словно глухой старик, двор. Кстати, старик, Василь Петрович, сошедший с ума от потери четырёх сыновей – и его почему-то не оказалось в этот час на лавочке, хотя всегда, и тем более при такой погоде, он должен быть именно тут...

Я потянул за ручку – пружина пискляво застонала, жалуясь на меня противным голоском. Я протиснулся внутрь, и дверь за мной закрылась с глухим ударом, я оказался в полумраке. В нос ударил запах мела и хлорки, словно здесь решили убрать после выноса покойника. Тишина угнетала – я брёл, натываясь на шкафчики, ведра, ящики, разобранный велосипед и другие предметы, которые и раньше всегда были здесь, но выглядели привычными, и я не задевал их. Теперь же они ловили меня, словно когтями, зло и беззвучно требуя остановиться, а лучше – повернуть и бежать что есть силы прочь. Но я брёл в полутьме, замирая и прикладываясь ухом к дверям – и в ответ слышал лишь молчание. Дом превратился в склеп, он дышал холодным страхом. Да, он напоминал проклинающего мир мертвеца, с холодными костистыми лапами и тупыми, но крепкими зубами, готовыми сомкнуться и раздавить меня. В ушах звенело, словно пели полуночные сверчки. Хоть что-нибудь бы звякнуло, пискнуло мышью, а лучше сказало, заголосило или даже заплакало – я бы принял любой звук с облегчением. Я брёл, поднимаясь по готовым сломаться подо мной ступеням, и меня качало, как если бы я шагал по опустевшему, гулкому и сырому трюму корабля, на котором не было никого, кроме меня. Словно за мной поднималась вода, и я медленно тонул в одиноком, бушующем океане...

Чем выше я поднимался, тем больше старался не дышать, словно воздух в коридоре вот-вот мог закончиться. Наконец передо мной оказалась зелёная дверь со сбитой набок восьмёркой. Я застыл и не верил, утирая холодный пот, который катился по лбу, смачивал веки и жёлтую солью глаза.

Комнатушку моего друга... опечатали.

Я провёл рукой, подержал в ладони какую-то странную бирку, и хотел дёрнуть, сорвать, войти и застать в каморке Эрдмана. Расспросить его – что же, чёрт возьми, происходит со всем домом и, в первую очередь, с ним самим?! Но внутренний голос сказал холодно: успокойся, там, конечно же, никого нет. Разве бывает так, чтобы опечатывали помещение, в котором находится человек? Но что же тогда случилось? Я постучал. Удары, словно камни, падали и осыпались по всему дому, и казалось, что от них дрожат и вот-вот обвалятся стены, похоронив меня под обломками. Но я не мог успокоиться, и барабанил со злобой, будто хотел разбудить этот проклятый склеп, вызвать на себя хоть чей-то гнев, крик – что угодно, но только бы победить эту тишину, разогнать тлен, мрак, паутину, которые, казалось, окутали меня со всех сторон. Я облокотился на дверь, прижался лбом – минуты бежали, и единственным звуком было тиканье моих наручных часов.

Нужно было уходить. Я зашагал по коридору, но тут же замер, повернув голову к обитой двери с цифрой девять – здесь жила тётя Надя, самый близкий для Эрдмана человек. Ну конечно же! К ней он так часто обращался со своими бытовыми нуждами, брал чайник для запаривания своих любимых красных ягод. Неужели и она исчезла? Я стоял, замерев, очень долго, и слышал, как там, по другую сторону, кто-то нерешительно переминался с ноги на ногу, скрипел половицами, невольно выдавая себя. Тётя Надя, как и я, стояла там, приложив ухо, и в страхе ждала...

Я постучал. Квартира вновь отозвалась скрипом.

– Кто? – послышался голос, и мне почему-то вспомнилось, как в детстве мы с друзьями ловили воробьев с помощью верёвок-обманок. Если взять в кулак запуганную серую птичку – она пищала также умоляюще, сдавленно и жалко.

– Тётя Надя, что случилось? – я подождал, но мне не ответили. – Не бойтесь, это я – Николай, Коля, откройте, мне надо поговорить!

Я прислушался – там, за дверью, рыдали, пытаясь заглушить панику ладонями.

– Не открою, уходите! – вопила она.

– Почему? Что произошло? Это я – Коля! Где Карл Леонович?

– Я не знаю никакого Карла Леоновича, и вас я тоже не знаю, поэтому немедленно уходите, слышите, сейчас же!

– Тётя Надя!

– На помощь! Я сейчас закричу в окно!

Я ударил кулаком, и она отпрянула. Не знаю почему, но мне было радостно слышать, как, повалившись тучным телом, женщина задела ведро, таз, или ещё что-то железное. Злоба разбирала меня, и я бежал вниз по лестнице, бил, валял ногами любые предметы, попадавшие на пути. Как я обрадовался, когда с грохотом упал огромный шкаф, кажется, он даже раскололся, но я не оглянулся посмотреть. Так вам, так! Схоронились, ироды! Молчуны позорные! Мне было до безумия радостно представлять, что от каждой двери в эти минуты шарахались люди-мыши.

Но вовсе не местные трусливые обитатели, а сам дом, его огромная туша внезапно обрушилась на меня. Под ногами закачался пол, и у самого выхода я споткнулся о швабру и с грохотом ударился головой о стояковую трубу. Долго лежал, захлебываясь спёртым воздухом и боясь пошевелиться. Искры поблескивали перед глазами, слух наполнился глухим шумом. Поднялся, и замер от ужаса – темный коридор наполнили диковатые рожи, ряженные клоуны вертелись и играли на дудках, черти оседлали петухов, призрак в длиннополой рубашке проплывал мимо и забрасывал разноцветную стружку. Я поморщился, и дикие видения растаяли.

Я выбежал во двор. Хотя правильной сказать, дом с проклятием выплюнул меня, подтолкнув тугим языком и закрыв со скрипом мерзкий рот-дверь. Меня встретила шелестящая липкой листвой тихая весна, но яркие лучи не могли уже вернуть той радости, с которой я шёл сюда. Пустота, запущенность и одиночество царили во дворе. Что же, надо уходить. Вернуться домой, или сходить куда-нибудь – лишь бы подальше отсюда.

У арки путь перегородил Чемберлен. Я знал этого лохматого обитателя двора – большой глупый пёс, который всегда встречал меня, радостно размахивая хвостом. Я часто брал для него кусочек хлеба или кости. Но сейчас он рванул ко мне из тени и, ухватившись за широкую штанину, сомкнул челюсти, упёрся и с глухим рыком мотал ушами. Пёс словно хотел меня задержать, и, пытаясь вырваться, я подумал, что вот-вот из проклятого дома выйдут таившиеся до этой минуты молчаливые суровые люди, они утащат меня в сырой подвал, чтобы измучить – тихо, жестоко, без цели. Этот дом ненавидел меня... Ну и что ж, и я тоже ненавижу, зло и решительно проклиная всех вас! С этим помыслом я пнул под живот Чемберлена, и его рычание перешло в испуганный писк. Положив в рот два пальца, я свистнул, и тут же сплюнул – руки после падения были в пыли.

Выйдя из двора, я вздохнул так легко, словно покинул чулан. Радости не ощутил, ибо в чулане этом меня без слов оплевали, разодрали и ушибли... но кто это сделал и почему, я понять не мог. Ноги, заплетаясь, понесли меня к реке, и хотя дыхание постепенно стало ровным, мне не удавалось привести мысли в порядок. Почему этот выходной денёк, так чудесно начавшись, обрушился на меня грудой камней? Почему прохожие с испугом оборачиваются на меня? Да что случилось?

Выйдя к берегу Воронежа, я замер, потер локоть и улыбнулся. Навстречу шли, взявшись за руки, те самые девушки, что встретились мне на скамеечке по пути. Всё плохое на миг стерлось, и я широко улыбнулся, подумав, что вот-вот исполню данное самому себе обещание – познакомлюсь с ними, приглашу на фильм «Любимая девушка», и тем самым изменю жизнь! Смелость была со мной.

Но едва я окликнул, и девчата взглянули на меня, то лица их – милые, румяные, сделались жёсткими. На меня смотрели каменные изваяния, холодные глаза наполнились отчуждением и холодом. Звук приветствия лишь сорвался с моих губ, и ушёл куда-то вглубь, растворился, умер в груди. Я невольно сделал два шага назад, и девушки ещё больше напомнили пафосные изваяния комсомолок. Ещё один шаг назад, и я упал, наступив на свою же, изорванную Чемберленом штанину. Полетел я нелепо, и как мне хотелось, чтобы девушки рассмеялись. Лучше выглядеть дурачком, и смех ободрит бы меня... Но одна из них – та, с косичками, что понра-

вилась мне больше, смотрела с какой-то тревогой и шептала что-то на ухо подруге. Я испугал их! До меня донеслось: «Видела у него шишку?» Тронул лоб, вспомнив падение в коридоре проклятого дома. От досады сплюнул, и угрюмо зашагал в другую сторону. Четыре месяца я не прикасался к папиросам, но сейчас, наверное, только курево могло бы меня утешить.

Нужно было срочно идти домой, притом лучше всего не привлекая внимания, шагать тихонько, словно угрюмая тень. Оставшись наедине, в своей комнате я смог бы все обдумать, сыграть самому себе что-то грустное на баяне, или хотя бы просто отлежаться и, как раненный зверек, зализать такие непонятные и непривычные обиды и раны. Но меня трясло всё сильнее и сильнее, новая, яростная, злая сила рвала, калечила душу, превращая меня в кого-то другого. Я шёл, и с меня, как со змеи, сползала старая кожа. Ну что, думал я, как дальше жить будешь, Коля Звягинцев? Ты остался один в огромном, недружелюбном мире, и хоть волком вой, ничего не изменишь.

Теперь понимаешь, что ты... никому не нужен. Ни этим девушкам – им тебя не жаль, ты испугал их, потому что выскочил на них, как безумец. Ты не нужен ни отцу, который сейчас решает важнейшие задачи на заводе, ни матери, которая тоже занята чем-то. Ей нет дела, что ты идешь сейчас по берегу, побитый и злой. Никому, никому, никому нет дела.

Куда ни пойдешь – везде на тебя посмотрят с подозрением и злобой. Хочется, чтобы кто-то сказал доброе слово, а лучше обнял и подарил самое ценное – любовь. Настоящую, большую, человеческую. Размечтался! Ты один, решительно один, и нет никого и ничего больше!

Желая зацепиться, найти хоть что-то близкое, я вспоминал любимые книги, образы, и на ум пришел Лев Толстой, его уход из опротивевшей Ясной Поляны. Я также ощутил желание оставить всё и вся, идти, куда глаза глядят, лесами и лугами, заглядывая в небольшие деревеньки и сторонясь городов. Вот так, вдруг, бросить всё, взять деревяшку-посох и ступать без цели. День и ночь. За тёплые летние месяцы можно далеко уйти, подумал я, и удивился длинной цепочке своих нездоровых умозаключений. Я остановился и вновь прислушался к самому себе, и странный голос говорил, что всё правильно, нужно бежать, притом немедленно. Душа вырывалась из тесной груди, её поднимали и травили дымом заводов, глушили отдалённые свистки и крики, и она петляла, рвалась, летела, огибая извилистую реку, поднималась к небесной лазури, а затем опустилась звёздочкой где-то в лесах, на далёкой ветке сосны, и пела, звала за собой оставленное ею брэнное тело. Душа моя была уже не здесь, и нужно было следовать за ней, чтобы найти её вновь...

Меня трясло, хотелось пить, и я засеменял по склону к воде. Подход к реке был отличный, и я умылся. Вытирая лицо, я отхлебнул из ладоней, повернул голову к маковкам и башенке Успенского храма.

Я надолго замер, и, задрожав, впервые в жизни перекрестился – размашисто, медленно.

Да что же творилось со мной? Я и сам не мог понять. Захотелось побежать, видеть, как, приближаясь, растёт перед глазами старинный храм, ворваться, спрятаться в нём, окунуться с головой, как в тёплое одеяло, в его мягкое чрево и услышать пение. Только там можно было защититься, оттаять среди тающего медовым теплом свечного воска, расплакаться и отдохнуть среди икон... Только храм этот лишь внешне казался домом Бога, но Хозяина оттуда грубо выселили: я знал, здание находится в ведении Осоавиахима. Это горькое осознание не помешало мне перекреститься ещё и ещё раз...

Вспоминалась покойная бабушка Прасковья – она, в тайне от родителей, крестила меня, когда я гостил у неё в селе Девице. Тогда мне было лет восемь, но я помню ту долгую службу, тройное погружение в иордань, трубный голос старого священника, который в то лето, буквально через несколько дней после моего крещения, куда-то навсегда исчез... Но я помнил, что мне было необычно легко и хорошо, когда батюшка положил мне большие ладони на голову и, говоря что-то, окунал в воду. Может быть, это дивное ощущение можно вернуть, прямо сейчас? Вновь перекрестившись, я стал сбрасывать прямо на мокрый песок одежду. Оставшись в

одних трусах, я потрогал лоб – шишка стала ещё больше. Провёл ладонью по волосам, и понял, что где-то потерял тубетейку. Видимо, она осталась лежать там, в доме... И чёрт бы с... Нет, ругаться и поминать нечистого было не время – он, я был уверен, именно он разложил вокруг меня столько сетей, а я наконец-то нашёл путь, как из них вырваться.

Через минуту я уже плыл, шумно отплевываясь и охая – вода была холодная. Но я быстро привык, и радовался – она на самом деле освежила и быстро дала сил.

– Господи, помилуй меня грешного! – из груди вырвался крик. Я выплыл на середину реки Воронеж, течение несло меня ближе к храму, и я надрывал глотку, словно надеясь, что там, в глубине преданного людьми Дома Бога живёт хотя бы один случайный, запоздавший вернуться на небо, к солнцу ангел. Этот ребёнок света услышит меня, поднимет на своих крыльях мой отчаянный зов и донесёт его к Тому, к кому я обращался в эту минуту. Мишенька, я именно так и думал в ту минуту, внутренними стремлениями обращаясь к кому-то единственному, кто должен писаться исключительно с большой буквы, ведь Он может меня услышать. Ты, Мишенька, должно быть, сильно удивляешься, читая всё это, и подумаешь: «Но ведь дед никогда не был религиозным». Внешне – конечно, нет. Но теперь ты знаешь, как, в какой день и час я понял, что не могу быть больше один. И потому я так истошно выкрикивал отчаянно молитву – маленький человек, плывущий былинкой по реке и не знающий, что ждёт его...

От сдавленного крика в лёгких не хватало воздуха, и я стал тонуть. Но, с трудом выталкивая себя, я фыркал и смеялся. Уши глухли от воды. Да, я был совсем один в огромном мире! Люди – неважно, кто они, близкие по крови, так называемые друзья или незнакомцы – все одинаково стали лишь попугачики, им нет дела, утону ли я сейчас, или мне хватит сил вернуться, ощутить изрядно уставшими ногами дно. В мире нет любви, а лишь страх и зло. Есть Бог, который создал нас, дал свободу любить, но мы отказались от этого, и теперь стоим на пороге чего-то страшного, что либо уничтожит, либо исправит нас. Вот Карл Леонович, тот верит!

Или верил?

Я ужаснулся, подумав, что, может быть, его уже и нет на земле, и он навеки отправился к Солнцу и нежится там в лучах Весны! Только там есть место для таких, как он, стремящихся к истине, миру, свету. Он верил в объединение всех людей по принципам просвещённого братства и отказа от насилия, верил в дружбу и знал ей цену...

Бедный Карл Леонович...

Он мечтал объединить человечество, примирить и избавить от войны, но все – и даже те, кто жил рядом, кто обращался к нему за помощью, отвернулись, прокляли и отреклись...

Я перевернулся и, медленно загребая, поплыл на спине. Жмурился. Какое же оно огромное, тёплое, хорошее – Солнце! Любящее, сказал бы старик-философ, и согревающее всех, нищих и хозяев жизни, атеистов и гонимых священников, праведников и убийц. Всех любит одинаково. Хотя всё относительно. Чем ближе ты стремишься к Солнцу, идёшь его путём, тем быстрее сгораешь. Вот и Эрдман...

Да что такое, в конце концов?! Я вновь грёб на животе, стремясь к берегу. С чего я взял, что его больше нет? Глупости. И что происходит? Может, я смотрю дурной, до неприличия затянувшийся сон, и вот-вот очнусь в своей комнате, умоюсь, пойду уже наяву и застану старика в его каморке?

Поднялся ветер, и набежавшие волны накрывали меня, и, захлебываясь, я понимал, что бред, творящийся со мной – реальность.

– Господи, если Ты слышишь меня, прости! – опять крикнул я. Солнце зашло, небо потемнело, словно его закрыли тысячи ворон, ветер усилил холодное дыхание. Как такое могло быть? Паника охватила меня – не было сил сопротивляться поднявшейся против меня стихии. Теперь, когда пишу, вспоминаю и ужасаюсь: неужели эта свистопляска творилась со мной, мягким, сытым мальчиком, не знавшим тревог, голода, страхов? Где, как и почему я очутился?

Я слышал далёкое пение, словно сотни монахов собрались вокруг туч и гудели надо мной. И этот зов будил меня, давал силы.

– Раз-два-три! – плыл я, ритмично считая каждое усилие, стараясь держать ровно ноги, всё время тянувшие ко дну. Я ушёл под воду, и, с трудом выплыв, услышал звон, похожий на колокола, словно провалился во времени, и теперь грёб по старинному Воронежу. Кружились с криками птицы, доносился запах далёких костров, как будто плотники прервали работу на верфях и теперь варили сливную кашу. Хоть бы это оказалось правдой – выйти на берег, ступать, оставляя мокрые следы, к кострам, сидеть среди бородатых людей и не чувствовать себя чужим, навеки остаться в Петровской эпохе, раствориться там случайной былинкой, строить с ними русский флот...

Я обнял липкую, пахнущую водорослями сваю мостика, отдышался. Рядом был лодочный причал – нет, не старинный, а привычный, одинокий и пустой. Дрожа, я вышел из воды и побрёл искать одежду – течение отнесло меня шагов на пятьсот. Дойдя и с трудом натягивая на мокрое тело рубаху, краем глаза я заметил небольшую толпу, что собралась поодаль на улице. И хотя зрение меня всегда подводило, но по белой форме и синим фуражкам с блестящими на солнце лакированными козырьками и алыми звёздами понял: моим заплывом весьма заинтересовались. С милиционерами стояли и две мои несостоявшиеся подруги и ещё какие-то серые фигуры.

Я не обращал на них внимания – пусть смотрят, мне не жалко. Снял и выжал трусы. Захотелось помахать ими над головой, как пиратским флагом, но решил, что хватит дурачиться. Брюки и рубаху натягивал долго, надеясь, что «зрителям» надоест меня наблюдать. Но, натянув с хлюпаньем туфли, понял – нет, люди стоят там же, словно молчаливые судьи. Ну, раз так, пойду сдаваться. Я поднимался вверх по склону, срывая траву, одуванчики, пучки молодой полыни. С этим букетом и подошёл к девушке с чёрными косами. Конечно же, она отпрянула, и подруга вышла наперёд, заслонила её грудь. Но, оценив мою решимость, обе спрятались за спинами сержантов рабоче-крестьянской милиции. Строгие ребята, они были примерно моего возраста, молчали, не сводя глаз.

– Купаться запрещено, что ли? Не понимаю! – моя реплика не получила ответа.

Раз так, подумал я, и стойте дальше, а я пойду... Но, сделав лишь шаг в сторону, служители закона взяли меня под руки, как в клещи. Малейшая попытка вырваться или закричать оборачивалась для меня дикой болью в плечах.

– За что? – только и простонал я.

Все обернулись – на скорости круто входя в поворот, выбрасывая из-под колёс камни, к нам с рёвом рвалась черная «эмка». Увидев её, люди шарахнулись в разные стороны, будто испуганные курицы, и лишь милиционеры твёрдо уперлись хромовыми сапогами и ломали мне руки. Когда задняя дверь «воронка» открыла чёрный зёв, они грубо затолкали меня в салон. Потирая от боли плечо, я посмотрел в окно – сержанты милиции стояли вытянутые, отдавая честь. Мой озноб перешёл в лихорадочную дрожь, и я поджал колени, боясь пошевелиться. Я нашёл силы посмотреть, кто был на передних сиденьях и замер, увидев идеально выбритый затылок высокого человека во френче. Эта голова с малюсенькими ушами идеально напоминала яйцо, гладкости которого мешали лишь складки кожи на шее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.